

Мережковский Д. Рождение Богов (Тутанкамон на Крите) filosoff.org
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://filosoff.org/> Приятного чтения!

Мережковский Д. Рождение Богов (Тутанкамон на Крите).

Матерь Богов

I

– «Отец есть любовь». Аб-вад. Аб– Отец, вад – любовь. Вот что на талисмানে написано.

– Что это значит?

– Не знаю... Как надела мне его мать на шею, так и ношу, никогда не снимаю; он меня всю жизнь хранит. Сохранил и давеча от зверя. Когда из камышей выпорскнул вепрь, сшиб меня с ног, хватился я ножа – ножны пусты. Под брюхом у него лежу, а он надо мною храпит, горло клыком достает. Хорошо, что внизу, у ключицы задел, а если бы чуть-чуть повыше, тут бы мне и конец. Вспомнил я талисман, одной рукой нащупал на груди, «Аб вад», – шепчу, а другой рукой нашарил нож в траве; должно быть, выронил, падая. Изловчился, приподнялся и всадил его по рукоять в брюхо зверю.

– Талисман тебя спас, а ты – меня.

– Я о тебе не думал... Ну, а если бы и спас, какая мне прибыль? Мы ведь купцы о прибыли только и думаем.

– Погоди, купец, может быть, будет и прибыль...

Лица ее не видел он, но слышал по голосу, что улыбнулась так ласково, что, хотя и знал, что счастья не будет, все-таки сердце от счастья замерло.

Таммузадад, сын Иштаррамана, вавилонянин, и Дио, дочь Аридозля, критянка, шли по лесной дороге с Иды горы, в город Кносс, столицу острова Крита. Дорогу – две колеи в красно-желтой глине – проложили скрипучими колесами телег дровосеки, возившие лес с Горы – мачтовые сосны и кедры – на корабельные верфи Кносской гавани.

Охотники возвращались с ловли диких быков, а вепря затравили нечаянно: сам набежал на них, испуганный гончими. Священные игры быков совершались на Кносском ристалище во славу Быка. Каждую весну ловцы и ловчихи отправлялись за ними на Гору. Там, на медвяно-злачных пажитях, у ледяно-струйных вод, паслись быки, неукротимо-дикие, тяжело-тучные, ширококолбистые, огромнорогатые, чудовищно-прекрасные, первенцы творения, сыны Земли, Матери богоподобные. Ловили их, как птиц, в тенета, сплетенные из толстых морских канатов, расставленные в лесных дебрях, на водопойных тропах.

Уже весна цвела в долинах, а здесь, на Горе, все еще была зима. Пронзительно-холодный ветер задувал со снежной Иды. Тучи неслись по небу так низко, что, казалось, цеплялись за верхушки сосен. Шел мокрый снег с дождем. Смеркалось.

Но весна была уже и в зимних сумерках. Из-под кучи прелых листьев пробивались ландыши; во мху цвели фиалки; куковала кукушка, как будто знала и она, что счастья не будет, а все-таки плакала от счастья.

– Да, от всего спасал талисман, – заговорил он опять, – от огня, от яда, от зверя; от одного не спас...

– От чего? – спросила она. Он не ответил, и она поняла: «От тебя».

Оба закутаны были в звериные шкуры: он – в рыжую, львиную, с пастью на голове вместо шлема; она – в седую, волчью, со шлемом хоревым. У обоих – охотничьи копыта в руках, луки и колчаны за спиной. Трудно было узнать, кто мужчина, кто женщина.

Скинув львиную пасть с головы, он поднес руку к шее.

– Болит? – спросила она.

– Не очень. Что это за рана – царапина! Пастухом, в Халихалбате, хаживал на львов с одной палицей. Раз только оценившаяся львица задрала; след когтей и сейчас на спине. Ну, да я тогда крепче был, помоложе...

Она посмотрела на него заботливо.

– Повязка сползла. Дай поправлю.

– Нет, где тут в лесу! Ведь скоро будем дома?

– Скоро, – ответила она нерешительно.

– А дорогу знаешь? Не заблудимся? Вон глушь какая!.. Что это, море шумит?

– Нет, сосны. Когда шумят сосны, похоже на море.

И, помолчав, повторила опять, как будто думая о своем:

– Что ж это значит, «Отец есть любовь»? Кто Отец? Бог?

– Не знаю. Сорок лет твержу, а не знаю. Слово Божие – закрытый сосуд: кто знает, что внутри? А может быть, и не надо знать: узнаешь – умрешь?..

– Пусть, – только бы знать!

И оба замолчали, прислушались к шуму сосен – шуму незримого моря – не того ли, что бьется о все берега земные неземным прибоем – шумит шумом смерти?

– В Уре Халдейском[1] ... – начал он и остановился. Произнеся имя родного города, почувствовал вдруг, что низкие тучи, мокрый снег, приторный запах мокрой хвои, унылое кукование кукушки и шум сосен – шум смерти – все ему здесь ненавистно; ненавистна и она, любимая: из-за нее никогда не вернется он на родину, умрет на чужбине бездомным бродягой, подойдет, как пес на большой дороге.

– В Уре Халдейском, – продолжал он, – отец мой был жрецом лунного бога Сина. Тайнам Божьим хотел и меня научить, но я не слушал его, думал тогда о другом. А все же кое-что узнал. Вот что написано в допотопных скрижалях о сотворении человека. Поймешь на нашем языке?

– Пойму.

– Ну так слушай:

Боги призвали богиню,
Мудрую Мами Помощницу...

– Мами? – удивилась она. – У вас Мами, а у нас Ма. Одно имя?

– Да. Может быть, одна у всех. Все люди, как дети, зовут Ее: «Мами»!

Боги призвали богиню,
Мудрую Мами Помощницу:
«Ты, единая плоть материнская,
Можешь людей сотворить».
Открывает уста свои Мами, Великим богам говорит:
«Я одна не могу»...

Дальше нельзя прочесть, скрижаль сломана. А в конце так:

Открывает уста свои Эа Отец,
Великим богам говорит:
«Бога должно заклать;
С божеской плотью и кровью
Мами глину смешать»...
Так боги и сделали: из плоти и крови закланного Бога человека создали.

– Так это и у вас? – еще больше удивилась она.

– Да, и у нас. Бог умер, чтобы человек жил. Может быть, это и значит «Отец есть любовь»?

– Это! Это! Как же ты говорил, что не знаешь? Из-под хоревоего шлема блеснули глаза ее – вещие звезды, страшно-близкие, страшно-далекие, – и опять почувствовал он, что чужбина – родина; умрет из-за нее, ненавистной-любимой, подойдет, как пес на большой дороге, и будет счастлив.

– Как же ты говорил, что не знаешь? – повторила она.

– Не знаю, ничего не знаю, девушка, – усмехнулся он горько. – Может быть, так, а может быть, и не так. Человек о Боге знает столько же, как о человеке червь. Как твари дрожащей путь Божий постигнуть? Все надвое. На небе одно, а на земле другое. По земле судя, не очень-то Бог любит людей. Как в плачевной песне поется:

Помощи ждал я – никто не помог,
Плакал – никто не утешил;
Кричал – никто не ответил.
Злым и добрым одна участь: умрем и будем, как вода, пролитая на землю,
которую нельзя собрать.

– Зачем ты так говоришь?

– Как так?

– Как будто ничего нет.

– А что же есть? Тебе лучше знать: ты жрица, умеешь пророчить и гадать; а я купец, умею только считать. Дважды два четыре – смерть. Умрет человек – ляжет и не встанет.

– И все?

– Все.

– И ты больше ничего не хочешь?

– Как не хотеть! Хочу, чтоб дважды два было пять, да ведь не будет... О сотворении мира и другое сказано:

Ищешь ты жизни, но не найдешь.
Когда боги людей сотворили,
То себе оставили жизнь,
А людям назначили смерть.
Все надвое. Выбирай, что хочешь: или дважды два пять – жизнь, иди дважды два четыре – смерть.

Помолчал и спросил:

– А что, девушка, правда, будто бы у вас здесь, на Острове, человеческие жертвы приносятся – отцы заколают первенцев?..

– Молчи! Разве можно говорить об этом, – прошептала она с ужасом.

– Говорить нельзя, а делать можно?

– Молчи, молчи, безбожник! Если скажешь еще слово, я тебе больше не друг! – проговорила она так повелительно грозно, что он замолчал.

II

Давно уже сошли с дороги на глухую, как звериный след, тропу. Вдруг вышли на лесную поляну, отовсюду огражденную скалами, тихую, теплую. Посреди нее миндальное деревцо розовело розовым цветом, под белым снегом, в мутных сумерках.

– А может быть, ты и ошибся в счете, купец: дважды два четыре не все? – сказала она, взглянув на деревцо.

– Может быть, и ошибся, – опять усмехнулся он горько. – Слушай, девушка. Сказал безумный мудрому: «Все ли зло под солнцем? Нет ли добра?» И мудрый безумному ответил: «Есть и добро». – «Какое же?» – «А вот какое: разбить нам обоим головы и бросить нас обоих в реку».

– Вот так ответил! Вот так ответил! – рассмеялась она весело.

Он тоже взглянул на дерево и понял: для нее, смеющейся, он, скорбящий, –

Мережковский Д. Рождение Богов (Тутанкамон на Крите) filosoff.org
как этот мокрый снег для розовых цветов.

- Стой, куда мы зашли? – оглянулась она. – Что-то я этой поляны не помню.
- Так и знал, что заблудимся! Зачем же свернула с дороги?
- Покороче хотела.
- Вот тебе и покороче! Ах, бестолковая! Небесных путей искавши, земной потеряли. А ночь на носу...

Он присел на поваленный ствол сосны и вытер ладонью пот со лба.

О себе она не думала; ко всему привыкла на звериных ловлях; переночевала бы в лесу, как дома. Но видела, что он устал и ослабел от раны. Подумала, решила:

- Не бойся, найдем ночлег.
- В медвежьей берлоге, что ли?
- Нет, у Нее.

Он понял: у Нее – у Матери. Имя Ее было так свято, что почти никогда не произносилось.

- Где же Она?
- Тут недалеко.
- А ты почему знаешь?

Молча указала она на глубоко зарубленный в сосновой коре, угольчатый крестик – Ее святое знаменье. Подальше, на другом стволе – еще, и еще. Как вежи, вели они к Ней.

Следуя по ним, вошли они в овраг – дно высохшего потока, так густо заросшее лиловым вереском и ржавым папоротником, что не видно было, куда ступает нога. Дио шла впереди. Вдруг отшатнулась – едва успела удержать ногу над пропастью. По ту сторону ее, в белесовато-мутной мгле, громоздились горы, как тучи, и высоко над ними, как будто от них отделенная, реяла почти невидимо, бледным призраком, снежная Ида гора – сама Великая Мать, неизреченная Ма.

Дальше, казалось, идти было некуда. Но на отвесной скале, над самую кручею, начертан был четко, красною краскою, все тот же путеводный крестик. Обогнув выступ скалы, по самому краю пропасти, вышли к полукруглой площадке, обставленной каменными глыбами. Это была святая ограда перед входом в пещеру Матери.

Камень черный, закругленный сверху, как желудь, стоял посреди площадки. Люди говорили, что он упал с неба падучею звездой и по ночам светился звездным светом. Это был святой Камень – Бэтил: в нем обитал Бог.

Дио вошла через калитку в ограду. Подойдя к Камню, обняла его и поцеловала. Потом вернулась к Таммузададу, сказала:

- Войди. Со мною можно.

И, взяв его за руку, ввела в ограду. В скале была медная дверца. Дио постучалась в нее. Никто не ответил.

- Должно быть, Пчелы ушли в город, – сказала она. Пчелами назывались жрицы Матери, и сама Дио была Пчелою.

Дверца никогда не запиралась: страх Божий охранял святилище. Открыв ее, вошли через тесную щель в темную, теплую, прокуренную святым шафраном и ладаном пещеру.

При тусклом свете, падавшем из приотворенной дверцы, увидели бронзовый треножник – алтарь курений с рдевшим под пеплом жаром углей. Дио вздула

Мережковский Д. Рождение Богов (Тутанкамон на Крите) filosoff.org
огонь и набросала сухих веток. Вспыхнуло яркое пламя, и пещера осветилась.

За алтарем курений был алтарь возлияний – черная стеатитовая, на столбиках, доска, с тремя углублениями – чашами, для воды, молока и меда: вода – Отцу, молоко – Сыну, мед – Матери.

Дальше в глубину возвышались два огромных глиняных бычьих рога, и между ними медная, на медном древке, двуострая секира, ярко вычищенная, сверкала, отражая пламя. Эта святая Секира – Лабра – была знаменем Сына закланного, Тельца небесного: молнийной секирою Отца рассекается туча – телец, чтобы жертвенною кровью – дождем – напитать Землю Кормилицу.

А в самой глубине стоял маленький глиняный идол, незапамятно древний, чудовищный, с птичьим клювом вместо лица, смешными обрубками, как бы цыплячьими крыльшками вместо рук, исполинскими кольцами-серьгами в исполинских ушах, красными точками вместо сосцов и черным треугольником женских ложесн.

Войдя в пещеру, Таммузадад и Дио скинули звериные шкуры.

На нем была длинная, подобная жреческим ризам, вавилонская одежда из темно-лиловой шерсти с золотым шитьем, повторявшим узор – райское Древо Жизни между двумя херувимами. Борода, черная с проседью, завита была в правильные ярусы мелких локонов, теперь от сырости развившихся и растрепавшихся несколько смешно и жалобно. Ростом он был невысок, широкоплеч и приземист. Обветренное, смуглое, как у моряков, лицо с резкими чертами, с вечною, как бы застывшею, умною и злою усмешкою, было некрасиво. Но иногда он улыбался неожиданно-детскою улыбкою, и вдруг, точно личина спадала, открывалось другое лицо, простое и доброе.

На ней была критская сборчатая, книзу расширенная колоколом, юбка, на каждой ноге закругленная так, что слегка напоминала мужские штаны; стан туго перетянут, как бы перерезан, кожаным поясом-валиком; на верхней части тела – узкий, в обтяжку, хитон из ткани, тонкой и золотистой, как пленка с головки сушеного лука; на груди – трехугольный, низкий до пояса, вырез, обнажавший сосцы.

Когда вспыхнуло пламя на жертвеннике, Дио подняла и протянула руки, выставив ладони вперед, к маленькому чудовищному идолу в глубине пещеры; потом поднесла их ко лбу и соединила над бровями, как будто закрывая глаза от слишком яркого света. Повторила это движение трижды, произнося молитву на древнем, священном языке. Таммузадад плохо понимал его, но все-таки понял, что она молится Матери:

– Всех детей твоих, Мать, помилуй, спаси, заступи!

Он удивился, узнав почти ту же молитву, которой мать его учила в детстве; с нею же надела ему на шею и ту корналиновую дощечку-талисман, с полустертыми знаками древних письмен: «Отец есть любовь».

III

Кончив молитву, Дио указала ему на две кучи сухих листьев, покрытые овечьим руном, у двух противоположных стен пещеры, – должно быть, ложа здешних Пчел:

– Вот тебе и ночлег!

Он посмотрел на нее молча, с удивлением: не понимает, что делает, или думает, что от всего сохранит ее святой покров Матери?

Потом, усадив его на обрубок дубового пня, вынула из охотничьей сумы все, что нужно для перевязки, сходила за водой на родник в устье пещеры, согрела воду в медной чаше на угольях жертвенника, обмыла рану, присыпала зельем, утоляющим боль, и перевязала лоскутом свежей льняной ткани. Была искусною врачихою, так же, как все Пчелы.

Пальцы ее едва касались раны. Но он побледнел и стиснул зубы.

– лилит! лилит! – шептал, как в бреду.

Мережковский Д. Рождение Богов (Тутанкамон на Крите) filosoff.org
– что ты шепчешь? – спросила она. Он ничего не ответил, только стиснул зубы еще крепче.

Лилит была соблазнительно-прекрасным вавилонским бесом, сосущим по ночам кровь сонных дев и отроков, – сама ни отрок, ни дева, – Дева и Отрок вместе.

Девушки часто бывают похожи на мальчиков. Но Дио была больше, чем похожа. Смешно сказать: он иногда не знал, кого любит – ее или его. Видел голую женскую грудь, а все-таки не знал.

О, это слишком худое, отрочески-стройное тело, слишком узкие бедра, угловатость движений, непокорные завитки слишком коротких, иссиня-черных волос и мужественно-смуглый, девственно-нежный румянец, как розовый цвет миндаля в густеющих сумерках, и темный пушок на верхней губе – смешные «усики» – для него не смешные, а страшные! ни он, ни она – она и он вместе – лилит, лилит!

Иногда ему хотелось спросить ее в упор: «А ты кто?». И если не спрашивал, то не только потому, что это было смешно. «Кто подымет покров лица моего, умрет», – говорит богиня Иштар вавилонская. Звезда любви, утренне-вечерняя, на закате Жена, на рассвете Муж – Муж и Жена вместе. Страшно ему было узнать, кто она: узнать – умереть.

Дио вынула из сумы и поставила на стол – другой пень, повыше – две стеклянных сулейки, одну с вином, другую с оливковым маслом; положила хлеб, сыр, сушеные плоды, и для него – ломоть копченой оленины. Сама не ела мяса: ничего дышащего не вкушали жрицы Матери.

Угощала его, но он от всего отказывался, только жадно выпил чашу холодной воды. А она ела за двоих, как настоящая охотница.

– Теперь уж не заблудимся! – болтала весело. – Тут дорога близехонько. На заре наши с Горы подойдут. У них две телеги; на одной везут быка, а на другую тебя посадим. С ними и вернемся в город... Да что ты такой скучный? О чем думаешь?

– Ни о чем. От тебя шафраном пахнет. «Сладкое дыханье зимнего шафрана», – так у вас в песне поется?... Это ваше святое благовоние. Пчелы?

– Да. А ты не любишь?

– Нет, ничего.

Он вынул из ножен нож, тот, которым убил давеча вепря. Осмотрел, нет ли пятен крови. Тер сукном, чистил. Темным блеском блестело железо.

– Черная медь крепче желтой? – спросила она. Железа на Островах не было, не было и слова для него.

– Да, крепче, ковче. А если раскалить добела и опустить в воду, будет еще крепче, и гнется, как ивовый прут, не ломается.

– Ты им и торгуешь?

– Им. Я вам его первый привез, до меня никто не возил.

– На нем разжился?

– На нем. Железо дороже золота.

– Откуда оно?

– Из земли Халибов, на Севере. Но и те только купцы да ковачи, а к ним привозят другие, кто живет еще дальше на Севере. Там земля и небо железные, и люди тоже. Если к вам придут, всех истребят. Медью с железом не справиться. У кого железо, тот всех победит.

– А могут прийти?

– Могут. Уже идут. Был камень, есть медь, будет железо. И тогда начнется

Мережковский Д. Рождение Богов (Тутанкамон на Крите) filosoff.org
война, не то что теперь. Где железо, там и кровь; кровь липнет к железу. В древних книгах сказано: «Все будут убивать друг друга». Был потоп водный – будет кровавый, и тогда всему конец...

– Этого не будет!

– Будет. Отчего не быть?

– Не попустит Мать, – сказала она и, подумав, прибавила: – Как же ты не боишься?

– Чего?

– Торговать... этим.

Не захотела произносить гнусное слово: «железо».

– Да Ей-то что? – усмехнулся он. – Боги в такие дела не мешаются. Был бы товар, а купцы будут. Не я, так другой.

– Спрячь! Спрячь! Ей не показывай! – прошептала она с отвращением и ужасом. Он спрятал нож в ножны.

– А рядом с Халибами живут Амазонки, – продолжал он по старой привычке моряка вспоминать далекие страны. – Амазонки значит Безгрудые. Правую грудь выжигают себе, чтобы не мешала натягивать лук. И такой у них обычай: жены воют, а мужи прядут шерсть и нянчат ребят. А ведь и у вас тут, на Островах, такой же был когда-то обычай; да и теперь еще мать больше отца, и жрицы святее жрецов. Ведь и вы Пчелы – мужененавистницы? Как это у вас в песне поется? В лунные ночи, в святых садах, в сладком дыхании шафрана, как Пчелки жужжат?

– Это не песня, а молитва.

– Ну, все равно. Скажи, как?

Она улыбнулась и вдруг зашептала, зажужжала тихо – молитвенно:

О, да избегну я, дева безбрачная,
Царственной Матери дочь свободная,
Рабского ига объятий мужских.
– А дальше, дальше как? – молил он жадно.

Она опустила глаза и уже без улыбки прошептала еще тише:

Да преклонит же к молящей
Лик свой милостивый Матерь,
И святым своим покровом
Дева деву осенит!
– Ну а конец я и сам помню:

Лучше в петлю, чем на ложе
Ненавистное мужей!
Так вот вы как, святые девы! Не грудь себе выжигаете, а сердце. Да ведь не выжжете, глупые! Дважды два четыре, это и в любви, как в смерти. Всякая птица вьет гнездо, всякая девушка хочет мужа. Захочешь и ты – полюбишь!

Она подняла на него глаза – вещие звезды, страшно-близкие, страшно-далекие.

– Не люблю, – ответила просто. – Так не люблю.

– А как же, как же иначе?

Она ничего не ответила.

Огонь потухал. Она подбавила смолистых лучин; наколола их побольше, чтобы хватило на ночь. Пламя вспыхнуло. Медная секира заискрилась, черные тени рогов запрыгали по стенам, и маленький идол в глубине пещеры, казалось, замахал цыплячьими крылышками, как будто хотел вспорхнуть.

– А правда ли, что тут у вас, в таинствах Матери, жрецы одеваются жрицами,

Мережковский Д. Рождение Богов (Тутанкамон на Крите) filosoff.org
а жрицы – жрецами? – опять заговорил он. – Это зачем? Разве Мать...

– Молчи! – сказала она так же грозно-повелительно, как давеча, когда он спрашивал о человеческих жертвах.

Но он уже не хотел молчать, весь дрожал, говорил как в бреду:

– Тут у вас земля трясется, носить вас больше не хочет. Погодите, ужо накажет вас БОГ: провалитесь все в преисподнюю!

– За что?

– А вот за это, за это! За то, что естество извратили, захотели, чтоб дважды два было пять ...

Она вдруг рассмеялась ему в лицо так же весело, как давеча, глядя на розовый цвет миндаля в густеющих сумерках.

– Ничего, ничего ты не знаешь! И зачем говоришь, когда не знаешь?

Он посмотрел на нее молча, в упор, и вдруг опять побледнел, стиснул зубы, почувствовал, как пронзающий укус скорпиона, смешное-смешное и страшное вместе. И уже шевелился, рвался с языка безумный вопрос: «Да ты кто, кто ты, Лилит?»

Встал и накинул на себя львиную шкуру.

– Куда ты?

– В лес.

– Зачем?

– Спать.

– Разве тебе здесь нехорошо?

– Нехорошо.

– Почему?

Он опять посмотрел на нее молча, – и она вдруг поняла. Покраснела, потупилась. Мальчик исчез – осталась девушка.

Он пошел к двери. Она – за ним.

– погоди, ты там сейчас не пройдешь в темноте по обрыву.

Он остановился, не оглядываясь; чувствовал, что, если оглянется, не уйдет.

– Или хочешь так – ты здесь, а я там, в ограде? Мне ничего, я привыкла. Хочешь?

Теперь была уже не мальчик и не девочка, а только ребенок.

Он оглянулся и медленно-медленно пошел назад. Сел на прежнее место.

– Очень ты похожа на отца своего, Дио, – заговорил, как будто спокойно, задумчиво. – Мы с ним друзья были, братья. Плыли раз на корабле за янтарем, к Полночному Берегу, соседнему с Царством Теней, где заря во всю ночь и стволы деревьев белые. Плыдем, а море ночное – тихое и светлое, как воздух, точно и нет его вовсе, а только два неба, вверху и внизу. «Вон, говорю, какая тишь: это к буре. А что, брат мой, не страшно тебе в бурю с таким, как я? Ведь боги топят корабли со злодеями?» И все ему о себе рассказал. А он говорит...

– Что ты ему рассказал?

– погоди, потом скажу. А он говорит: «Нет, не страшно, Таму»...

Он тебя так называл?

– Так. «Нет, говорит, не страшно, Таму. Мы – братья. Я тебя никогда не покину: вместе жили, вместе и умрем». Буря тогда была большая, но ничего, спаслись. А все-таки боги сделали по-своему. Когда мы возвращались на Остров, у самого берега, у мыса Лифинского, где море кипит, как котел, корабль разбился в щепки о подводные камни. Я спасся, а отец твой погиб. Да, боги сделали по-своему: погубили невинного, а злодея спасли...

– Что же ты ему рассказал?

– Зачем тебе?

– Чтобы знать, кто ты.

– А если скажу, отпустишь?

– Как захочешь, так и сделаю.

Он опустил глаза и заговорил опять как будто спокойно, задумчиво:

– Я сказал ему, что на мне кровь.

– Чья?

– Отца.

Помолчал и спросил все так же спокойно:

– Не веришь?

Она взгляделась в лицо его и тоже опустила глаза – поверила.

– Как это было?

– Как было? А очень просто. Была у нас рабыня, эламитянка, девчонка лет тринадцати. И не очень хороша, так только, смазлива; да прехитрая – настоящая зверушка. Обоих нас водила за нос, спала с обоими. Отец узнал и убил ее, а я – его. Должно быть, так...

– Не знаешь наверное?

– Не знаю. Очень тогда испугался, убежал из дому, из города. И вот все бегаю, места себе не нахожу. Уж лучше бы наверное, чем так – ни то, ни се...

Помолчал и прибавил, со своей тяжелой, как бы каменной, усмешкой:

– Может быть, оттого и железом торгую: каков товар, таков и купец!

Долго молчали, не глядя друг другу в лицо. Наконец, он встал и проговорил, все еще не подымая глаз:

– Ну что ж, девушка, не страшно тебе с таким, как я?

Она тоже встала, положила ему руки на плечи и сказала:

– Нет, Таму, не страшно. Я тебя никогда не покину!

Он поднял на нее глаза, и в лице его что-то дрогнуло, как будто открылось медленно-медленно: так открывается железная, ржавая, давно не отпиравшаяся дверь.

– Он, он, он! Аридоэль! – вскрикнул он с радостным ужасом, упал к ногам ее с глухим рыданием и поцеловал не ноги ее, а землю около ног.

Потом встал, быстро подошел к одной из двух куч сухих листьев, лег на нее, повернулся лицом к стене и сказал:

– Доброй ночи, Дио, спи спокойно. Помолись за меня Матери!

Закрылся с головой львиною шкурою, закрыл глаза и почти тотчас же услышал, как пчелы жужжат в лунном саду, над цветами шафрана. Едва успел подумать:

Мережковский Д. Рождение Богов (Тутанкамон на Крите) filosoff.org
«Как странно, пчелы при луне!» – и заснул так сладко, как спал только в детстве, на руках матери.

IV

Проснулся от страшного сна. Хотел вспомнить, что это было, но не мог, и сделалось еще страшнее. Сердце колотилось с болью, подкатывалось комом к горлу, стучало в виски молотом.

Привстал, оглянулся и при тусклом рдении углей на жертвеннике увидел у противоположной стены что-то длинное, тонкое, золотисто-шафранное. Вдруг понял, отчего так страшно.

Вскочил и, шатаясь как пьяный, побрел к двери. Казалось, что все еще спит, только из одного сна проснулся в другой, как это бывает в бреду, и тоже как в бреду ноги отяжелели – двигаясь, не двигались.

Остановился и так же, как давеча, почувствовал, что не уйдет, если оглянется. Разорвал ворот рубахи, нащупал обеими руками талисман, прошептал: «Аб вад! Аб вад!» Но и талисман не помог. Вдруг какая-то страшная сила схватила его за голову и повернула назад: оглянулся. «Не хочу! Не хочу! Не хочу!» – стонал, скрежеща зубами, но та же сила толкнула его в спину и потащила к тому длинному, тонкому, золотисто-шафранному.

Подошел, упал на колени и, дрожа так, что зуб на зуб не попадал, протянул руку, прикоснулся сначала к волчьей шкуре, а потом к желтому, с серебряными пчелками, покрову. Прислушался: Дио спала глубоко, дышала ровно; легкая ткань на груди чуть-чуть шевелилась. Лицо было покрыто.

Подполз на коленях и опять протянул руку. «Кто подымет покров с лица моего, умрет» – сверкнуло в нем, как молния. Поднял – умер.

Наклонился к лицу ее, почувствовал дыхание – «сладкое дыханье зимнего шафрана» – прикоснулся губами к губам и прошептал исступленным шепотом:

– Кто ты, кто ты, Лилит?

Она открыла глаза. Еще не понимая, что это, вскочила и оттолкнула его так, что он упал навзничь. Но встал и опять пошел на нее.

Она отскочила в глубину пещеры. В руке ее блеснул бронзовый нож. Он вынул из ножен свой, железный. Но тотчас отбросил его так далеко, что клинок звякнул, ударившись об стену.

Видел по лицу ее, что, если он подойдет, она убьет его. И подходил медленно-медленно, шаг за шагом, закинув руки за спину и крепко сжав их, пальцы в пальцы.

Когда подошел так близко, что мог охватить ее руками, она занесла нож.

– убей! убей! убей! – шептал он с мольбой, все крепче сжимая руки за спиной.

Вдруг она увидела красную струйку крови, сочившейся сквозь белую ткань повязки с шеи его на голую грудь. Должно быть, оттолкнув его давеча, задела рану.

Уронила нож, подняла и протянула руки, выставив ладони вперед, как тогда на молитве у жертвенника, и воскликнула:

– Мать, помилуй!

Он сделал еще шаг, остановился, поднял глаза вверх, как будто что-то увидел, и, слабо вскрикнув, упал без чувств.

Когда очнулся, она стояла над ним на коленях, одной рукой держала голову его, а другой подносила к губам чашу с водою. Он жадно пил. Только теперь, казалось, проснулся от страшного сна.

– Что это, что это было? – спросил, заглянув ей в лицо.

Мережковский Д. Рождение Богов (Тутанкамон на Крите) filosoff.org
– Ничего, – ответила она. – Дурной сон тебе приснился, и я разбудила.

Он лежал на земле, головой на свернутой волчьей шкуре. Хотел приподняться и не мог. Она помогла ему. Он оглянулся и увидел сквозь приоткрытую дверь голубоватый свет утра, падавший из устья пещеры на золотистый, с серебряными пчелками, смятый покров. Вдруг вспомнил все. Закрыв лицо руками.

Она склонилась к нему, обняла голову его и поцеловала в лоб.

– Таму, брат мой, я тебя никогда не покину. И не покинет нас обоих Мать!

Гладила рукою волосы его, ласкала, как мать – больного ребенка.

Вдруг, очень далеко, а потом все ближе и ближе, послышался гул голосов, песня охотников.

– Наши с Горы, – сказала она, поспешно вставая. – Погоди, я сейчас...

Выбежала из пещеры в ограду, схватила лежавшую на камне, у калитки, исполинскую тритонову раковину, острый конец ее с просверленным отверстием приложила к губам, наполнила ее дыханием, и раздался звук, подобный бычьему реву, пробуждая в лесах и горах многоголосые отклики. В такие раковины-трубы перекликались пастухи и охотники, призывая друг друга на помощь в опасности.

Когда последний отклик замер, прислушалась, и скоро оттуда, где только что слышалась песня ловцов, раздался такой же трубный звук.

Перед тем, чтобы вернуться в пещеру, взглянула на Гору. Утро было ясное. Солнце еще не всходило, но на прозрачно-золотистом небе, рядом с мерцающей, как огромный алмаз, утренней звездой, светилась снежная Ида, розово-белая, девственно-чистая, как сама непорочная Дева-Мать.

V

Ловцы и ловчихи спускались с последних предгорий Горы на великую Кносскую равнину.

На одной из двух запряженных волами телег, с деревянными сплошными, без спиц, скрипучими колесами, лежал пойманный бык, а на другой – Таму на мягком ворохе звериных шкур, скинутых ловцами: здесь, внизу, было уже тепло. Копья, луки, рогатины, сети и прочая звероловная снасть сложены были тут же, на дне телеги.

Бык, туго затянутый, запутанный в тенета из толстых морских канатов, похож был на чудовищно огромную, белую, нежную куколку бабочки. Давно уже перестал биться, изнемог, только болезненно вздрагивал, косил налитым кровью зрачком и мычал отрывисто-глухо, но так потрясающе, что у людей отдавалось внутри.

Таму держался рукою за грядку телеги. Дио шла рядом, положив на его руку свою. Говорить нельзя было: не слышно от скрипа колес. Но, когда она взглядывала на него молча, с улыбкою, сердце его, так же как вчера в лесу, замирало от счастья, хотя он и знал, что счастья не будет. Слушал мычание быка, и казалось, что сам он – запутанный в крепкие сети прекрасною девой-ловчихой – пойманный бык.

Юноши и девушки пели, плясали, шалили, как дети; но все было чинно, обрядно, священнодейственно. Славили бога Адуна, Тельца закланного. Сына Великой Матери. Под гулы тимпанов и визги флейт пели, плясали, с криком и гиком и посвистом:

Ио Адун! Ио Адун!
Яростный Бык! Яростный Бык!
Под визги флейт, под рокот струн,
Прыг, прыг, прыг!
Попляши, поспеши
От трав медвяных,
От струй ледяных!
Попляши для наших лоз,

Мережковский Д. Рождение Богов (Тутанкамон на Крите) filosoff.org
Попляши для наших нив,
Попляши для наших стад.
Попляши для наших сот!
Вдруг на повороте дороги с вершины холма открылось ветрено-мглистое, как бы дымящееся белыми дымами – пенами волн, темно-фиолетовым огнем горящее море. И опьяненные свежестью соли морской, заплясали, запели они еще радостней:

Ио Адун! Ио Адун!
Попляши волною небурною,
Вечно-лазурною!
Слава Отцу несказанному,
Слава Сыну закланному,
Слава тебе – Великая Мать!

А внизу, у подножия холма, в черно-зеленом кольце кипарисовых рощ забелел ослепительно, как только что выпавший снег или разостланные по полю холсты белильщиков, белокаменный город-дворец, жилище бога Быка – Лабиринт.

лабиринт

I

Тутанкамон, или Тута, как все его называли, зять царя Египта, Ахенатона, отправлен был послом в великое Царство Морей, на остров Кефтиу – Крит.

Не без страха он сел на корабль: египтяне боялись «Очень-Зеленого» – Уазит-Ойрета – моря.

«Я плыл по Очень-Зеленому. Вдруг налетела буря и разбила корабль. Люди мои погибли, а я ухватился за доску и выброшен был волнами на остров Кефтиу», – описывал он свое путешествие. Ничего этого не было: благополучно прибыл Тута на остров Крит; но, как искусный сочинитель, подражая образцам древней словесности, выдумал кораблекрушение, потому что с него начинались все древние египетские сказки о морских путешествиях.

Ожидая свидания с критским царем в покоях Кносского дворца, каждое утро он писал свой путевой дневник. Мог бы диктовать письмоводителю; но не хотел: сам любил писать. Писцами были деды и прадеды; можно сказать, с тростью скорописца в руке родился и он. Каждый раз, садясь за работу, вспоминал изречение дедовской мудрости: «Чин писца паче всех чинов. Люди на работах потеют, а писец прохлаждается. Сам бог Тот, Обезьяна прекрасно-лика, – первый Писец».

Сидя на поджатых ногах перед низким поставцом с наклонною дощечкою и обмакивая в чернила тростниковую кисточку, он четко выводил иероглифную скоропись по шелковисто-гладкому папирусу.

Черная, огромная охотничья кошка, полупантера, спала у ног его, на коврик. Они были друг на друга немного похожи: у обоих одинаково круглые, плоские, широкие лица; большие, пустые, с хищным разрезом, глаза; осторожная мягкость движений и равнодушная ласковость. Никогда не разлучались: кошка всюду ходила за ним, как тень, и иногда ему казалось, что это не зверь, а домашний дух-покровитель.

После египетского солнца он все не мог привыкнуть к здешнему холоду. Кутался от утренней свежести в теплый плащ и грелся у жаровни, наполненной жаром углей. Кисточка плохо держалась в зябнущих пальцах.

«Чудо бывает великое на острове Кефтиу: дождевая вода от холода твердеет и белеет, как соль. Снегом называют это здешние жители, а у нас и слова для этого нет, потому что глаза наши никогда такого чуда не видывали», – описывал он снег на Иде горе; и от этого сделалось ему еще холоднее.

– Углей подбавь, – велел слуге и, бросив писать, спрятал озябшие руки под плащ.

Каждый день приносили царские отроки в покои посла дары кефтийского царя царю Египта. В этот день принесли двенадцать глиняных сосудов, чудесно расписанных, стройных, как тела прекрасных девушек, тонких, как яичная скорлупа.

Юти, художник, начальник царских зодчих, живописцев и ваятелей, посланный

Мережковский Д. Рождение Богов (Тутанкамон на Крите) filosoff.org
царем Египта вместе с Тутюю для приглашения кефтийских мастеров, постучал косточкой среднего пальца в стенку одного из сосудов. Она зазвенела, как стеклянная.

– А ведь у нас так тонко бы не сделали! – восхитился Тута.

– Кто любит потоньше, а кто покрепче. Здешние мастера для века работают, а наши для вечности, – возразил Юти.

Говорил одно, а чувствовал другое. Когда маленькая, сильная и умная ручка его – есть ум в руке художника – прикоснулась к нежным выпуклостям глины, как бы живого тела, сморщенное, почерневшее от солнца, как у старого каменщика, лицо его еще больше морщилось от странного чувства, болезненно-сладкого. «Нет ничего на свете, кроме Египта», – думал он всю жизнь, думали отцы его, и вот вдруг понял, что есть еще что-то.

На одном из сосудов изображены были стебли болотной осоки так живо, что казалось, видно, как под ветром колышутся, слышно, как шелестят.

– А это что? – указал Тута на темную, над стеблями, волнистую черту.

– Облака, – объяснил художник.

Тута удивился: изобразить, остановить летящее облако, за тысячи лет египетской живописи никогда никому не приходило в голову.

А лицо Юти сморщилось еще болезненнее. Умом не понимал он, но сердцем чувствовал, что, может быть, одной этой волнистой черты, одного летящего облака довольно, чтобы разрушить все вечные граниты Египта. Вечное разрушить, увековечить мгновенное, остановить летящее, – вот чего хотят эти беззаконники.

– Нечистые, нечистые, необрезанные! – шептал он с суеверным ужасом.

А на других сосудах изображена была таинственная жизнь морского дна: между ноздреватыми камнями и кораллами дельфины зелено-лазурные; сетка для ловли пурпуриноносных раковин; спрут-осьминог, толстобрюхий, извивающийся желто-слизистые, розово-пупырчатые щупальца; стаи летучих рыб, над водой, как птицы, порхающих. И опять – так живо все, что казалось, слышно, как волны шумят, водоросли пахнут устрично-соленую свежестью.

– Nefert, nefert! Прелесть, прелесть! – восхищался Тута. – А ты что морщишься? Не нравится?

– Знаешь сам, господин мой, – ответил художник спокойно, но все же не так, как хотелось бы, – мы, люди Черной-Земли, не любим Очень-Зеленого. В море плавать – в горе плакать. На земле – боги, а в воде – бесы.

И, подумав, прибавил:

– Милости твоей не в обиду будь сказано, может быть, и все-то мастерство ихнее – нечистое, бесовское.

– Умный ты человек, Юти, а какой вздор мелешь!

– Нет, не вздор...

– Вздор! Я вашего брата, художника, насквозь знаю. Все вы завистники. Сам не можешь сделать так, вот и завидуешь. погоди, уже напишу государю, чтоб оставил тебя здесь, у морских бесов, на выучку! – рассмеялся Тута: любил дразнить старика.

Что-то сверкнуло в глазах Юти, но тотчас потухло. Тутанкамон был для него старшим, а старших он чтит, как всякий добрый египтянин.

– Если его величеству будет угодно, пойду и к бесам на выучку, – ответил смиренно и, по придворному чину не поцеловал, а только понюхал руку сановника.

Подшел к принесенному давеча, вместе с сосудами, деревянному ящику; выдвинул сбоку дощечку и вынул два изваяньица: скачущего быка из гладкой,

Мережковский Д. Рождение Богов (Тутанкамон на Крите) filosoff.org
темной бронзы, и человечка из слоновой кости, подвешенного над спиной быка на волоске, почти невидимом, между двух столбиков с перекладиной.

Юти толкнул человечка пальцем, и он закачался, описывая дугу полета над скачущим быком, как будто перепрыгивал, перелетал через него, подобно священным плясунам-акробатам в бычьих играх на Кносском ристалище.

Глядя на жадно-вытянутое, как стрела, летящее тело его, вдруг вспомнил Юти то странное чувство, какое бывает во сне, когда летаешь и удивляешься: почему же раньше не знал, что можно летать?

– «Полетим, говорят, сделаем крылья и полетим – будем, как боги», – подумал он вслух.

– Кто это говорит? – спросил Тута.

– Дэдалы.

– Какие дэдалы?

– А хитрецы здешние. Великий Дэдал сделал восковые крылья сыну своему, Икару, и полетел мальчишка в небо, да сшалил, поднялся слишком близко к солнцу; воск растаял, и шалун упал, расшибся до смерти. «А мы, говорят, лучше сделаем и полетим как следует».

– А ты что думаешь? И полетят: они могут, они все могут! – опять восхитился Тута.

– Полететь-то полетят, да куда?

– Как куда? В небо.

– То-то, в небо ли?.. Милость твоя сегодня ночью крепко спать изволила?

– Крепко. А что?

– Ничего не слышал?

– Нет... Погоди-ка, что-то было. Гром, что ли?

– Гром, да не на небе.

– А где?

– Под землей. Это, говорят, здесь у них часто бывает, перед тем, как земле трястись... Купца железного знать изволишь?

– Таммузадада? Как же. Железо у него торгую, да запрашивает дорого. Ну, так что же купец?

– А вот что: «Недаром, говорит, земля под ними трясется – носить их больше не хочет: уже накажет их Бог, провалятся все в преисподнюю!»

– За что?

– А вот за это. За то, что говорят: победим естество, будем как боги, – ответил Юти и опять толкнул человечка: тот закачался, зареял с волшебной-сонной легкостью.

– Полетят, да не в небо, а в преисподнюю: этим все и кончится!

Кошка проснулась, потянулась, посмотрела на них, суживая агаты янтарных зрачков, и замурлыкала, как будто хотела что-то сказать; сделалась похожа на Сфинкса.

Но Тута уже думал о другом: чувствовал, что принятое на ночь слабительное действует. Страдал запорами; получил их в наследство от предков-писцов: сидячая жизнь запирает. Поспешно встал и пошел в уборную. Кошка – за ним.

Из всех критских чудес чудеснейшим казалось ему водяная уборная. Хитрецы-дэдалы проложили по всему дворцу сеть водопроводных и водосточных

Мережковский Д. Рождение Богов (Тутанкамон на Крите) filosofff.org
труб. Вода, подымаясь по ним, уносила все нечистоты в подземные стоки, все омывала, выполаскивала дочиста. Самому царю-богу Ра, когда он жил на земле, снилась ли такая роскошь?

Стены уборной выложены были гладкими белыми гипсовыми плитами: светло, свежо, чисто, а внизу журчала вода, как вечнобьющий родник. И на подоконнике, в горшках, цвели живые лилии – тоже чудо: везде люди режут цветы, чтобы ставить их в сосуды с водою; а здесь растут они в домах, как на воле.

«Ах, милые бесы морские, благодетели! – размышлял Тута, сидя как царь на престоле своем. – Все могут – полетят. Летать хорошо, но и сидеть недурно в таком чудесном убежище!»

Вдруг, откуда ни возьмись, среди этих новых мыслей, критских, – старая, египетская – о дядюшкиной мумии.

Был у Туты дядюшка, древний старичок Хнумкуфуй, тоже отличный писец и важный сановник, страдавший запорами. Умер и погребен с честью. Но не упокоился в могиле – стал по ночам являться главному жрецу, совершавшему над ним обряд погребения, и запугал его так, что тот, наконец, не вынес, признался, что не распечатал «основания» дядюшкиной мумии. Перед тем как покойника класть в гроб, жрец-заклинатель оживлял его, отвержая, «распечатывая» очи, уши, уста, ноздри и «основание». Его-то жрец и забыл; сделал это нечаянно, а, может быть, и нарочно, желая отомстить за что-то покойнику. Участь Хнумкуфуя на том свете была ужасная: мог есть, наполнять желудок, но не облегчать. Пришлось-таки дядюшку вырыть и распечатать как следует.

Тут мороз подирал по коже при мысли о вечном запоре. Не дурак был, понимал, что есть разница между тем светом и этим; но как знать, в чем именно разница?

II

При выходе из уборной ожидал его письмоводитель Ани с двумя известиями: критский царь примет посла сегодня в полдень, и прибыл вестник из Египта с важными письмами.

Тута взшел по лестнице на залитую утренним солнцем площадку, кровлю той части дворца, где он жил. Кошка – за ним. Ведь город-дворец – дом святой Секиры, Лабры, Лабринт – виден был отсюда, исполинский, меловой, известковый, алебастровый, ослепительно-белый на солнце, как только что выпавший снег, или разостланные по полю холсты белильщиков, с узкою вдали полоскою синего-синего, как синька, моря.

Тута лег на ложе. Грелся, попивая настоящее египетское пиво, – всюду возил его с собою в запечатанных сосудах, – и закусывая печеньем из лотосных семечек, тоже египетским лакомством. Пил из собственной кружки, ел из собственного блюда, чтобы не опоганиться здешнею поганью: «Бесы морские, хоть и милые, а все-таки бесы».

Велел позвать вестника.

Вестник, Аманпа – Ама – родом сидонянин, состоял на египетской службе писцом у царского наместника в Урушалиме – Иерусалиме, главном Ханаанском городе. Чин был маленький, но за ум и честность доверялись Аме и большие дела. В посольском приказе говорили, что он далеко пойдет.

Наружность имел благообразную: спокойную важность в лице, тихую уветливость в голове, тонкую улыбку на тонких губах; верхняя – выбрита, а под нижнюю – борода отпущена и загнута острым клином вперед, по ханаанскому обычаю.

Взойдя на площадку, он пал ниц, подполз к Туте на коленях и, так же как давеча Юти, не поцеловал, а только понюхал руку сановника. Подал ему два круглых, узких, сикоморовых ящичка, запечатанных царскими печатями. На обоих имя посла было написано по-новому: не Тутанкамон, а Тутанкатон, потому что древнего бога Амона низверг новый бог Атон.

Тута распечатал один из ящичков, с письмами ханаанских наместников. Подлинники, писанные на глиняных дощечках вавилонскою клинописью,

Мережковский Д. Рождение Богов (Тутанкамон на Крите) filosoff.org переведены были на египетский язык в посольском приказе царя и отправлены к послу для сведения, потому что свидание с критским царем предстояло ему и по делам ханаанским.

Тута прочел письмо Рибадди, египетского наместника в приморском городе Кебене-Библосе.

«Царю, владыке моему, солнцу моему, дыханию жизни моей, так говорит Рибадди: к стопам твоим седьмиды и седьмиды падаю на чрево и на спину. – Да будет ведомо царю моему: Азиру, муж Аморрейский, изменник, пес, псицын сын, предался царю Хетейскому. И собрали они колесницы и мужей, дабы покорить земли твои. Двадцать лет посылал я к тебе за помощью, но ты не помог. Если же и ныне не поможешь, покину я город, убегу и тем спасусь, ибо силен царь Хетейский; сначала нашу землю возьмет, а потом и твою. Да вспомнит же царь Египта раба своего и пошлет мужей своих, дабы устоять нам против Азиру изменника. Царь мой, бог мой, солнце мое, даруй землям твоим жизнь, сжался, помилуй!»

– Ах, хорошо пишет, бедняга! Читать нельзя без слез, – умилился Тута. – Ну, и что же, пошлют ему войско?

Ама тяжело вздохнул:

– Нет, господин мой, увещание к Азиру вместо войска послано.

Тута усмехнулся:

– Что ему увещание, разбойнику! А жаль Рибадди: верный раб. Обгложет его, как лозу, лиса Аморрейская.

Ама стал на колени:

– Слезно молит он твое высочество написать царю, замолвить за него словечко!

– Напишу, напишу непременно. Да что толку? Сам знаешь, один ответ: «Воевать не будем ни с кем; мир лучше войны».

Тута прочел письмо Абдихиббы, наместника Иерусалимского.

«Занимают Хабири, хищники, все города царские, и грабят их, и сжигают огнем. Если не придет войско царя, все города будут потеряны. Сойдет в них с гор Ливана Иашуйя, разбойник, как лев – в стадо овец; Урушалим, град Божий, возьмет, и осквернят его хабири нечистые»

Хабири – евреи, маленькое племя ханаанских кочевников, пришло в Египет, молящее; сначала жило смиренно, а потом расплодилось, как саранча, ограбило хозяев своих и ушло в пустыню Синая под предводительством пророка Мозу – Моисея; сорок лет блуждало в пустыне и вот вдруг где появились – под стенами Иерусалима. Мозу умер, и новый пророк, Иашуйя – Иисус Навин – ввел Хабири в Ханаан, Землю Обетованную.

– Какие это хабири? Уж не наши ли? – спросил Тута.

– Они самые, – ответил Ама.

– Ах, подлые! Вот как расхрабрились! Ну, да и мы хороши, чего глядели? Не истребили этой нечисти вовремя – теперь с нею наплачемся!

Тута заглянул в письма других наместников. Все города Ханаанские – Тир, Сидон, Гезер, Арвад, Аскалон, Тунипа, Берут, Кадеш – вопили к царю Египта: «Сжался, помилуй! С юга Хабири идут, Хетейяне – с севера; если не поможешь нам, погиб Ханаан. Ханаан – стена Египта; подкопают воры стену и войдут в дом».

Тута распечатал второй ящичек с письмом друга своего и покровителя, старого сановника Айи: «Радуйся, сын мой, что живешь на острове Кефтиу, среди Очень-Зеленого, а не в Черной-Земле (Египте). Здесь все кипит, как вода в котле под крышкочкой; варится похлебка, для Хетейян и Хабири превкусная: воевать ни с кем не хотим, мир лучше войны; перекуем мечи на плуги и уже не мечами, а плугами разобьем друг другу головы, в войне братоубийственной

Мережковский Д. Рождение Богов (Тутанкамон на Крите) filosoff.org
из-за богов. Боги дерутся, а у людей кости трещат. Не возвращайся же, пока
не напишу. Вот письмо друга. Ама – верный раб. Но все же, прочитав, сожги».

К письму приложен был листок папируса с двумя строками:

«Все готово. Когда придет час твой, возвращайся и будь царем, спаси
Египет».

Подписи не было, но Тута узнал руку Птамоза, великого первосвященника
Амонова.

Взглянул на полоску синего моря над белым дворцом, и сердце у него
забилося, голова закружилась так, как будто вдруг полетел, подобно тому
человеку из слоновой кости, на волоске, или сыну Дэдалову, на восковых
крыльях.

Подумал, как бы Ама не заметил. Но скорее бы кошка заметила: так скромно
потупил глаза, так умно молчал. Да, этот далеко пойдет», – решил Тута и,
сняв перстень с руки своей, надел ему на руку. Ама, все так же молча, пал
ниц и понюхал ноги сановника.

Тута понял, что он поклоняется восходящему солнцу, будущему царю Египта,
Тутанкамону.

III

Здесь же, на площадке, начал одеваться к царскому приему.

Перед зеркалом из красной меди, круглым, чуть-чуть сплюснутым, как шар
восходящего солнца, подводил ему глаза зеленою сурьюю особый мастер этих
дел; удлинял разрез их чертою непомерной длины, от угла век почти до самого
уха, и завивал под нижнюю векою волшебный узор – Горово Око – защиту от
дурного глаза.

Власодел примеривал на бритую голову его парики различных образцов –
сводчатый, лопастый, черепичатый. Тута выбрал последний, состоявший из
волосных треугольничков, лежавших правильно, один на другом, как черепицы
на крыше.

Брадобрей предложил ему два рода подвязных, на тесемочках, бородок:
Амоновым кубиком, из жесткого черного конского волоса, и Озирисовым
жгутиком, из белокурого волоса ливийских жен. Тута выбрал жгутик.

Ризохранитель принес белое, только что вымытое и выглаженное платье –
каждое утро подавалось свежее – из тончайшего «царского льна» – «тканого
воздуха», все в струйчатых складках; широкие и короткие, выше локтей,
рукава в складках перистых похожи были на крылья; туго накрахмаленный
передник выступал вперед многоскладчатой, прозрачной, как бы стеклянной,
пирамидкой; а там, где складки сходились в острие, блестела золотая,
острая, шакаля мордочка с рубиновыми глазками.

Когда Тута оделся во все это белое, легкое, воздушное, то сделался похож на
облако: вот-вот вспорхнет и улетит.

Старичок брадобрей, Заза, неумный болтун, спросил его, закручивая и
умасливая благовоньями жгутик бородки:

– Изволил слышать, господин мой, как ночью Бык ревел?

– Не бык, а гром.

– Нет, Бык. Тут, говорят, во дворце Бык сидит на цепи, в подземном логове,
и как начнет рваться, реветь, так земля и затрясется. Это ихний бог: оттого
и бычьи роги всюду торчат. Да и царь-то здешний – полубык: тело человечесьё,
а голова бычья.

– Что ты, врешь, дурак! Подумай, разве это может быть?

– А очень просто, если дитя родилось от быка и от женщины..

И начал рассказывать сказку: вышел из синего моря бык, белый, как пена

Мережковский Д. Рождение Богов (Тутанкамон на Крите) filosoff.org
морская, прекрасный, как бог; здешняя царица влюбилась в него, велела
смастерить чучело телки, пустое внутри, и влезла в него. Зверь был обманут:
мертвую телку покрыл, как живую, и родила от него царица сына-чудовище,
получеловека, полубыка.. [2]

Тута сначала слушал, а потом плюнул и велел ему замолчать.

– Не веришь – своими глазами увидишь, – пробормотал Заза таинственно.

Кончив одеваться, Тута вышел на двор и сел в носилки, камышовую люльку, с полукруглым, за спиной седока, плетеным кузовом для защиты от ветра. Дюжие нубийцы подняли носилки на плечи, два веероносца пошли по бокам, а впереди – вожатый, дворцовый слуга: без него заблудились бы.

Но Туте казалось, что он кружит их нарочно, путает, чтобы скрыть от чужеземцев действительное расположение дворца: так бесконечны были ходы и переходы, улочки и переулочки, сени, притворы, палаты, келийки, стены над стенами, столпы над столпами, крыши над крышами и лестницы-лестницы – то вверх, то вниз. Все это, из гипса, мела, известняка, алебастра, ослепительно-белое на солнце, в тени опалово-мутное, кружилось, как вихрь, завивалось в завитки лабиринта безысходного.

Носилки качались, как люлька, баюкали, и Туте казалось, что снится ему сон, и конца не будет этому головокружительно-вьющемуся, утомительно-белому сну.

Миновали маленькую, точно игрушечную, часовенку, с целым лесом глиняных бычьих рогов. «Ихний бог – Бык», – вспомнилось Туте. Кое-где стены и потолки чинили каменщики.

– Что это? – спрашивал он, и каждый раз отвечали ему:

– Земля тряслась.

«Рвется Бык на цепи, и земля трясется», – опять вспомнилось ему.

Хотел и не мог думать о свидании с царем: «Какой он из себя?» – думал, но вместо человеческого лица бычьей морды выплывала из лабиринта сонного.

Больше месяца ожидал он свидания с царем: тог все откладывал под предлогом, что болен. «Нет, не болен, а стыдно, чай, показаться на люди с бычьей мордой», – вдруг подумал Тута, точно забредил во сне.

Вышли, наконец, на обширную, озаренную солнцем площадь, где множество медных секир – Лабр – знамений бога Быка закланного горело, как жар, и реяли над ними, как снежные хлопья, белые голуби, посвященные Матери. По белокаменной площади изразцовые дорожки извивались, темно-синие, как волны моря, чтобы и посуху, как по морю, могли ходить «бесы морские».

Носилки остановились. Царские телохранители, отроки, похожие на девушек, а, может быть, и девушки, похожие на отроков, ожидали посла у запертой низенькой бронзовой двери; помогли ему выйти из носилок, отперли дверь и ввели его в покои царя.

IV

Через полутемные сени с рядами узорчато расписанных, странно суженных книзу кипарисовых столпов вошли они в небольшую горницу – престольную палату. Сквозь узкие, как щели, окна под самым потолком падал из внутреннего дворика – светового колодца – таинственно темный, как бы подводный, свет. Голубоватый дымок – благовоние шафрана – плыл с курильниц, углубляя тайну сумерек, и еще волшебнее, подобнее сну казалась опаловая млечность алебастровых глыб в стенах.

На внутренней стене две одинаковые росписи – два исполинских, на лилийном лугу, грифона с птичьими клювами, львиными лапами, змеиными хвостами и павлиньими гребнями как бы стерегли царский престол, раскрашенный нежно и пышно, как волшебный цветок, с высокою, в виде дубового листа, волнисто изогнутою спинкою.

Тута взглянул на престол и обмер, глазам своим не поверил; тарачил их, вглядывался, но продолжал видеть то, что видел: на престоле сидело чудовище

Мережковский Д. Рождение Богов (Тутанкамон на Крите) filosoff.org
– человек с головой быка.

Он подумал было, что оно не живое. Но вдруг зашевелилось, подняло руку и тихонько поманило его пальцем, закивало головой. Бычьим ревом заревет сейчас, казалось ему, и закричит он от ужаса, нарушая весь посольский чин. Но слава Амону-Атону, не заревело, продолжало только кивать и манить.

Как бы спрашивая, что это значит, оглянулся он на сидевших по лавкам у стен, тоже очень странных, людей: старики в шафранно-желтых ризах, с коричнево-желтыми, дряхлыми, бабьими лицами – настоящие покойники. «Царские скопцы», – догадался Тута: видел таких при дворе фараоном.

– Не бойся, подойди к его величеству, – шепнул ему на ухо толмач.

Стараясь глядеть не на бычью морду чудовища, а только на человеческое тело его, в шафранно-золотистой, затканной серебряными лилиями, длинной, как бы женской, ризе, Тута подошел к нему. Вспомнив, что он – посол великого царя, а, может быть, и сам – будущий царь, решил поддержать свое достоинство.

Приготовил заранее и выучил наизусть посольскую речь. Одно затрудняло его: знал, что здешнего царя должно называть по чину то «царем», то «царицей», потому что он – Муж и Жена вместе, так же как бог Адун. Этого не мог он хорошенько понять; но, помня, что и царица Египта, Хатшопситу, носила мужскую одежду, приставную бородку Озирисову, и называла себя то царем, то царицей, – надеялся кое-как справиться и с этой трудностью.

Подойдя к престолу, заговорил по-египетски, а толмач переводил по-критски:

– Великий царь юга и севера, Ахенатон Неферхеперура Уазнра – Радость Солнца, Естество Солнца Прекрасное, Сын Солнца Единственный, – так говорит великому царю-царице Кефтиу: да обнимет бог Солнца, Атон, лучами своими брата моего – сестру мою и да сохранит его – ее во веки веков!

Слушал себя с удовольствием; особенно нравились ему побеждаемые трудности, странные сочетания женского рода с мужским. Так увлекся красноречием своим, что смотрел, уже не смущаясь, прямо в бычью морду царя:

бык так бык – только бы сказать, как следует.

Два женоподобных отрока подошли к царю и сняли с него голову. Тута опять обмер, вытарашил глаза: только теперь понял, что бычья морда – маска.

Маски богов-зверей носили и жрецы Египта, но там сразу было видно, что лица не настоящие, а здесь хитрецы-дэдалы смастерили маску так искусно, что она казалась бы живою, если бы даже сумеречный свет палаты не помогал обману зрения.

Тута, впрочем, не обрадовался и человеческому лицу чудовища, такому же дряхлому, бабьему, как у сидевших по стенам скопцов, но еще более мертвому: те как будто встали из гробов своих только что, а этот уже давно.

Сняв бычью голову с царя, отроки возложили на него венец из серебряных лилий с павлиньими перьями.

– Благослови тебя, сын мой, Великая Мать, ей же всегда молимся, да будет сердце наше и сердце брата нашего возлюбленного, великого царя Египта, едино, как едино солнце в небе, – заговорил царь по-критски, а толмач переводил по-египетски.

Вслушиваясь в дребезжащий, бабий голос его, вглядываясь в одутловатое бабье лицо его, Тута недоумевал, кто это, мужчина или женщина. И терялся уже окончательно, вспоминая, что двенадцать женоподобных отроков назывались «невестами царя», а двенадцать мужеподобных дев – «женихами царицы»: как будто нарочно такая путаница, чтобы ничего нельзя было понять – тайна Лабиринта безысходного.

v

По знаку царя все вышли, и, оставшись наедине с послом, заговорил он уже по-египетски:

Мережковский Д. Рождение Богов (Тутанкамон на Крите) filosoff.org
– Садись, сын мой, поближе, вот здесь, – указал ему на стул. – Очень рада видеть тебя.

Тута не ослышался: он, она или оно говорило о себе в женском роде.

– «Ankh em maat. Живущий в правде», – не так ли называет себя брат мой, царь Египта?

– Так.

– А если так, возлюбим же правду и мы. Правда, как солнце: личиной не скроешь. Я снял личину – сними и ты. Будем говорить правду, сын мой!

Он улыбнулся хитро – и вдруг мертвец ожил. Маленькие, серые, колючие глазки заискрились таким умом, что Туте казалось, что он видит ими на аршин под землей, – всем хитрецам хитрец, всем дэдалам дэдал.

– Ну что, как ваши дела в Ханаане?[3] плохи? Да ты не таись, не бойся. Я ведь все знаю.

И по тому, как начал расспрашивать. Тута понял, что он, действительно, знает все.

Говорил спокойно, деловито, холодно; но иногда вдруг вспыхивал странный, точно пьяный, огонек в глазах его, и Туте вспоминалось то, что он слышал о нем.

У критской царицы Велханы было два сына, старший – Идомин и младший – Сарпедомин. Когда объявила она наследником младшего, старший вступил в заговор с вождями народа, уставшего от женовластия. «Довольно-де жены над нами поцарствовали, пора и нам господами быть!» – кричали они, бунтуя чернь. С их помощью Идомин низверг царицу с престола и сперва заточил ее, а потом убил. Хотел убить и брата, но тот бежал в чужие земли. Кроток и милостив был Идомин, воцарившись, или казался таким, но иногда находили на него припадки безумия: то мучился угрызениями совести за убийство матери так, что хотел наложить на себя руки; то в ярости кидался на людей, как тот человек-зверь, Минотавр, чью маску носил он, подобный всем наследникам царя Миноса, бога Быка.

– Отчего же царь не посылает войск в Ханаан? – спросил Идомин.

Тута предвидел вопрос, но ответить на него было не так-то легко.

– Царь Египта воевать не хочет ни с кем: мир, говорит, лучше войны, – начал Тута и не кончил: ответ ему самому показался нелепым.

– Как же так, не воевать ни с кем? – удивился Идомин. – Ну, а если враг войдет в землю царя, и тогда воевать не будет?

– Может быть, и тогда, – опять начал Тута и не кончил; смутился, поспешил прибавить: – Мысли царя, как мысли божьи, неведомы. Но, думаю, что, если враг нападает, царь обороняться будет.

– Да ведь уж напал: Ханаан – земля царская. Чего же он ждет?

– Не мне, рабу, судить царя моего: он лучше знает, что делает, – ответил Тута смиренно.

Идомин взглянул на него молча, пристально. Вдруг наклонился, потрогал себе пальцем лоб и шепнул ему на ухо:

– Здоров ли царь?

– Как солнце в небе здравствовать изволит его величество, – проговорил Тута привычные слова привычным голосом и невольно потупился: колючие глазки вонзились в него, как иголки, а когда он опять поднял глаза, Идомин прочел в них безмолвный ответ.

– Слава Великой Матери, да сохранит она здоровье царя, брата моего, во веки веков! – проговорил он тоже привычные слова; но они поняли друг друга без слов: царь Египта – сумасшедший.

– Да, мир лучше войны, – продолжал Идомин, как будто про себя, тихо и задумчиво. – Все люди – братья, сыны единого отца небесного, Солнца Атона-Адуна. Не воевать ни с кем, перековать мечи на плуги – о, если бы так! А ведь и было так, в начале дней. Как в древних песнях поется:

Первые люди не знали бога войны и убийства, –
Знали одну милосердную Матерь, пречистую Деву;
Жертв заколаемых кровью святых алтарей не сквернили;
Все на земле было кротко, и птицы, и звери, ласкаясь,
К людям доверчиво льнули, и пламя любви в них горело.
Тута смотрел на него с любопытством: «Славит Великую Матерь, а сам родную мать убил», – думал, но – странно – без возмущения, как будто очарованный виденьем Золотого Века.

– Так было – так будет: вот чего хочет Ахенатон Уазнра, Радость Солнца, Сын Солнца Единственный! Проклят Амон, бог войны; благословен Атон, бог мира. Не так ли, сын мой?

– Ты знаешь учение царя? – удивился Тута.

– Как не знать? Адун-Атон – один и тот же бог, у нас и у вас.

– Нет бога, кроме Атона: у всех народов он один, – повторил Тута равнодушно, как школьник скучный урок.

– А учеников у царя много? – спросил Идомин.

– При дворе и в Ахетатоне, новом городе Солнца, много.

– А в других городах?

– Есть и в других.

– Мало?

– Да, меньше.

– А народ что?

– Народ верит в старых богов.

– Не хочет нового? Бунтует?

– Нет, у нас насчет бунтов строго.

– Казните?

– Казним.

– И царь об этом знает?

– Зачем царю знать?

– Ну, да ведь всех не переказнишь?

– Нет, всех нельзя.

– А ведь плохо царю без народа, одному против всех! – вздохнул Идомин сокрушенно. – Ты как думаешь, сын мой, кто сильнее, один или все?

– Все, – ответил Тута с убеждением и вдруг спохватился: – «Что он меня допрашивает?»

– Жаль брата моего возлюбленного! – вздохнул Идомин еще сокрушеннее. – Спасти его нельзя. Погибнет сам и других погубит. Глупы люди и злы: жить в мире не могут, должны воевать. Война им лучше мира. Ты как думаешь, сын мой, всегда будет война?

– Всегда, – опять не удержался Тута, ответил искренне.

Мережковский Д. Рождение Богов (Тутанкамон на Крите) filosoff.org
– А если так, не устоять Атону против Амона, – продолжал Идомин. – Велик Ахенатон пророк, из рожденных женами не было большего. Но малые пожрут великого, все – одного. «Люди едят плоть мою», знаешь, о ком это сказано?

– О Сокровенном, чье имя не сказано, – повторил Тута опять, как школьник скучный урок: помнил, что это сказано в книге Мертвых, об Озирисе, боге растерзанном.

– Да, о Нем. Великая Жертва, от начала мира закланная – Он, Радость Солнца, Сын Солнца Единственный – Ахенатон Уазнра! – воскликнул Идомин, и глаза его вдруг вспыхнули таким исступленным, почти безумным огнем, что Туте сделалось страшно.

Слава Отцу Несказанному!
Слава Сыну Закланному!
Слава Тебе, Великая Мать! –
произнес царь уже по-критски, подняв руки к небу молитвенно.

И вдруг опять наклонившись, шепнул Туте на ухо:

– Хочешь быть царем?

Тута вздрогнул, отшатнулся.

– Мне царем не быть.

– Почему?

– Есть другой наследник, Заакера, супруг старшей дочери царя.

– Сегодня он, а завтра ты.

Колючие глазки вонзились в него, как раскаленные иголки.

– А если будешь царем, не скажешь: «Мир лучше войны»? – спросил Идомин.

– Что говорить о том, чего не будет, – вздохнул Тута, и глаза у него вдруг загорелись, кулаки сжались. – Будь я царем, проучил бы я всю эту сволочь как следует!

– Какую сволочь?

– Хабири нечистых, хетяев разбойников!

– Не они страшны.

– А кто?

– Люди Севера, Железные. Слышал о них?

– Слышал: Данауны, Дардануйи, Илиуны, Пулазати, Ахаваша, – назвал Тута имена полудиких, для Египта еще баснословно далеких племен: Данаев, Дарданцев, Илионян, Пелазгов, Ахеев.

– И о брате о моем, Сарпедомине, слышал?

– Слышал. Он к ним бежал, к Железным?

– К ним. Хочет их вести на меня, за мать отомстить. Но видит Великая Мать, чист я от крови матерней! Не я ее убил, а он. И моей души ищет, злодей, братоубийца. Будь он проклят, проклят, проклят! – шептал Идомин, с ужасом выставив руки вперед и оглядываясь на дверь, как будто за нею был брат.

– Горе нам, если придут Железные! Сначала нам, а потом и вам горе! Все сметут, разрушат, не оставят камня на камне. Придут из ночи Железные – и наступит железная ночь – конец всему!

– Что же делать? – спросил Тута.

– Быть вместе. Вместе мир спасем. Тебе – земля, мне – море. Хочешь?

– Хочу, – прошептал Тута, закрыл глаза, и опять показалось ему, что он летит.

Царь встал с престола, подошел к Туте, положил руки на голову его и произнес торжественно:

– Радуйся, брат мой возлюбленный, царь Египта, Тутанкамон!

Пазифайя

I

Игры быков шли на кносском ристалище.

Вырубленные в скале отлогого холма, выложенные известняковыми плитами скамьи для зрителей подымались полукругами над продолговато-круглою, песком усыпанною площадью. В середине их высился царский шатер лилового пурпура на золоченых шестах с двойными секирами-лабрами. Исполинская серебряная бычья голова сверкала над шатром. Нижний полукруг скамей покоился на кипарисовых столбах, с темными между ними проходами в стойла быков.

Узкая полоска моря синела с одной стороны, а с другой – мгристо-голубые очертания горы Кэратийской напоминали обращенное к небу лицо великана – умершего бога Адуна, в чью славу и совершались игры быков.

Начались они пляскою жрецов Адуновых, пестунов бога Младенца, Куретов. Им отдала его Мать, чтобы укрыли Сына от ярости Отчей, ибо Отец есть огонь пожирающий, а пожираемая жертва – Сын. И спрятали они Младенца в пещере Диктейской горы, где коза Амалоея кормила его молоком, дикие пчелы – медами горных цветов, а Куреты окружали его, пляшущие, заглушая младенческий плач топотом ног, грохотом лат и мечей, да не найдет и не пожрет Сына Отец; но найдет и пожрет вечную Жертву вечный Огонь.

В скорби о Боге умершем плясуны исступленные резались мечами так, что алою росю капала кровь на белый песок.

Вдруг один упал в судорогах, с пеною у рта; тесным кругом окружили его остальные, и совершилось ужасное таинство: кремневым ножом оскопил он себя с воплем:

– Слава Адуну, Деве-Отроку!

И все множество зрителей поднялось со скамей, как один человек, восклицая:

– Ио Адун, ио Адун! Радуйся, Отрок! Дева, радуйся!

А за бешеною пляскою Куретов следовала тихая пляска лунных жриц. В тканях голубовато-сквозящих, как лунное облако, тихо, как тени луны по ночным облакам, скользили они по извиам плясового круга, лабиринтно-вьющимся; завивали хоровод Пазифайи – Всеозаряющей, Луны в полнолунии; плясали тихо-исступленную, вихревую, круговую пляску всего, что есть в мире, от побега виноградных лоз до водоворота бездн морских, от извиива кудрей девичьих до круговорота солнц ночных: ибо все в мире пляшет, вечным кругом кружится.

И опять, как один человек, затаило дыхание все множество зрителей, чувствуя, что Бог – в тишине.

Когда же отгорели на закате два рдяных пламени – два бычьих рога над царским шатром, а над горой Кэратийскою, порозовевшею, засеребрились два рога юного месяца, начались игры быков.

Медные решетки стойл подымались на цепях со скрежетом, и выскакивали дикие быки, белые, черные, рыжие, пегие, тяжело-тучные, огромно-рогатые, чудовищно-прекрасные, первенцы творения, сыны Земли – Матери богоподобные.

Застоявшись в стойлах, радовались воле, бегали, прыгали, прыдали, как будто плясали пляску богу Адуну, Быку небесному. Запахло бычьим стойлом, теплотою навозною; пыль заклубилась, как дым от пожара; земля загудела от топота ног, и воздух потрясся от рева, подобного гулу подземных громов.

Появились люди, странно маленькие среди исполинских быков, как будто все мальчишки и девочки: плясуны и плясуньи, акробаты и акробатики; голые, только ноги в ременчатых полусапожках да стан перетянут, перерезан, как стан осы, медно-кожаным валиком-поясом с коротеньким кожаным передничком. Смуглы, щуплы, сухи, жилисты тела, груди чуть выпуклы – у всех одинаково: не отличить, кто мальчик, кто девочка.

И заплясали с быками неимоверную пляску. Когда издали бешеный зверь, уставив рога, мчался на человека, тот ждал его, не двигаясь, и только в последний миг – вот-вот уже рога вонзятся в тело – чуть-чуть отскакивал в сторону, хватался за них и, пользуясь движением бычьей головы, вздернутой, чтобы вскинуть его на рога, сам себя вскидывал, вскакивал на спину быка с несказанною ловкостью.

Поднялась последняя решетка, и выскочил бык, самый страшный и дикий из всех, только что пойманный в дебрях Иды горы, на той последней ловитве, в которой участвовали Дио, дочь Аридоэля, и Таммузадад, вавилонянин, – белый, как пена морская, прекрасный, как бог, что вышел из синего моря с белой пеной ревущих валов, – бог Бык, Пазифайин возлюбленный.

В первый раз выпускали его на ристалище и дня три перед тем томили жаждою, чтобы укротить: иначе никто бы не справился с ним.

Высокая дубовая колода с водою стояла на ристалище, под царским шатром. Пробегая мимо нее, учуял он воду, остановился, взвился на дыбы, положил передние ноги на край колоды, уткнул в нее морду и начал жадно пить.

Толстый канат, на двух шестах-мачтах, протянут был над колодою. Быстро-быстро, как белка, взлезла по одной из мачт девочка лет пятнадцати, пробежала, остановилась против быка и вдруг, выставив руки вперед, кинулась вниз головою, как пловец с высоты кидается в воду. Голое тело, полудетское, полудевичье, острое, как стрелка, промелькнуло в воздухе – и у самых привычных зрителей замерло сердце: при малейшей ошибке прыжка исполинские рога вонзились бы в тело ее, как мечи. Но расчет был верен: упала между рогами, невредимая.

Бык, соскочив с колоды, замотал головою, запрыгал неистово, чтобы стряхнуть плясунью. Но она держалась крепко, уцепившись за рога руками и ногами: один рог – под мышкою, другой – между ног, и так вися, качалась, как на качелях – играла со смертью.

Вдруг перекинулась на спину зверя, встала на ноги и прыгнула на землю. Не успел он повернуться к ней, как уже другая плясунья вскочила на него, протянула руки к первой, подхватила ее, перебросила через себя на спину быка и тоже прыгнула; опять вскочила первая, перебросила вторую. И так то одна, то другая летали, летали они в белом облаке пыли, реяли, как ласточки.

Из царского шатра послышалось тихое рукоплескание: по здешнему обычаю, ударяли не ладонью в ладонь, а пальцами в пальцы. И все множество зрителей ответило таким же тихим плеском.

– Nefert, nefert! Прелесть, прелесть! – восхищался Тута. – Вон как улыбаются: должно быть, влюблены друг в друга, – шепнул он Таммузададу, сидевшему с ним рядом, в царском шатре.

– Влюблены? – усмехнулся тот своей тяжелой, точно каменной, усмешкой. – Да ты что думаешь?

– Думаю, что такие хорошенькие мальчик и девочка...

– Близорук же ты, господин мой, или плохо видеть изволишь от пыли? Это не мальчик и девочка.

Тута взгляделся пристальней.

– Ах, провались они все, окаянные – не разберешь, кто мужчина, кто женщина! – тихонько рассмеялся он и оглянулся туда, где, среди скопцов своих, сидело чудовище с головой быка, царь-царица Идомин.

Мережковский Д. Рождение Богов (Тутанкамон на Крите) filosoff.org
Продолжал усмехаться и Таму. Но, когда привычным движением поднял он руку к льняной повязке на шее, лицо его вдруг исказилось так, что Тутта спросил с участием:

– Все еще болит?

– Болит, – ответил Таму и вспомнил, как в ту страшную ночь, в пещере Матери, полз на коленях к золотисто-желтому покрову: «Кто подымет покров с лица моего, умрет». Поднял – умер. И теперь умирает. При свете дня, под тысячами глаз, обнаженное тело ее, ни мужское, ни женское – мужское и женское вместе, так же страшно, как тогда: «Да ты кто, кто ты, Лилит?»

– А ты этих девушек знаешь? – любопытствовал Тутта.

Таму ничего не ответил, как будто не слышал: молча встал и ушел. За него ответил один из скопцов:

– Та, что постарше, Дио, дочь Аридоэля, а другая, помоложе, Эойя, дочь Итобала.

Падали сумерки, и светлевшие на небе роги луны откидывали черные тени бычьих рогов на белый песок ристалища, когда протрубила труба, тритонова раковина, конец игр. Быков погнали в стойла; более смирных вели за продетые в ноздри кольца, а диких ловили арканами.

Перед царским шатром на опустевшем ристалище собрались плясуны и плясуньи, ожидая решения царя, кто победил в состязаньи.

Только троих из тринадцати унесли раненых; убитых не было вовсе, что сочли недобрым знаком: жертвы бог не принял, а главную целью священных игр и было принесение человеческой жертвы.

Пологи лилового пурпура в царском шатре, просвечивая аметистовыми светлыми вспыхнувших факелов, чуть-чуть раздвинулись, и высунулась бычья морда царя. Кроме приближенных скопцов, никто никогда не видел человеческого лица его и не слышал голоса. Но и от бычьей морды люди закрывали глаза руками, с благоговейным ужасом: увидеть бога – умереть. И пронесся шепот, как шелест ночных деревьев:

– Помилуй, Владыка-Владычица! Кто-то за спиной царя воскликнул в наступившей вдруг тишине:

– Эойя, дочь Итобала, радуйся!

Победительница вышла вперед, пала ниц, и венок из белых шафранных цветов слетел на нее из шатра.

Жертва кровавая не совершилась, – да совершится же бескровная: шафранным венком венчалась невеста Солнца-Быка, богиня Луны в полнолунии, Пазифайя – Всесветящая.

– Эойя, дочь Итобала, радуйся! Радуйся, богом любимая! – повторило все множество зрителей.

II

– Не бойся, он зла тебе не сделает.

– Знаю. Я не того боюсь.

– А чего же?

– Можно сказать? Не рассердишься, Пчелка, милая?

– Не рассержусь, говори.

– Боюсь... Погоди, дай на ушко скажу. Боюсь, что вдруг будет смешно...

– Смешно? А разве не страшно?

– Да, и страшно, а все-таки смешно... Деревянная, на колесиках, шкурой

Мережковский Д. Рождение Богов (Тутанкамон на Крите) filosoff.org
обтянута, совсем как живая, а ходить не может: подтолкнуть ее сзади – покатится; заскрипят колесики, я и рассмеюсь. А ведь нельзя?

– Нельзя.

– Ну вот. А когда нельзя, еще смешнее: как от щекотки рассмеешься, не удержишься. И потом, как влезу к ней в брюхо, – а в глазах у нее дырочки – можно выглядывать, – выгляну, увижу, как он подойдет, уставится мордой в морду, обнюхает, фыркнет, – и опять засмеюсь, прямо в лицо богу...

– Ну, что же, смейся, не бойся, девочка моя маленькая! Бог любит смех детей – он сам как дитя малое.

– Перед людьми нельзя, а перед ним можно?

– Можно. Он мудр и благ – он знает все.

– Да, все знает. Давеча свежей соломы принесла ему в стойло, а он поглядел на меня одним глазком, так, что страшно стало: знает все, только не может сказать...

– Ночью сегодня скажет тебе все. Верить?

– Верю. Войду во чрево Телицы, как мертвые входят во чрево земли, и узнаю все, как знают мертвые, – проговорила Эойя молитвенно и вспомнила, что сказывала ей египтянка Зенра, Диина кормилица.

Дочь египетского царя Менкаура, умирая во цвете юности, говорила отцу своему: «Не клади меня в землю сырую, чтобы мне в земле не соскучиться, а положи у себя во дворце и выноси на солнце, чтобы видеть мне и мертвой солнце живых». Так и сделал царь Менкаура: положил мумию дочери во чрево Небесной Телицы, Гатор, изваянной из сикоморового дерева, украшенной пурпуром и золотом, с золотым, между рогами, солнечным кругом, поставил ее у себя во дворце, в темной палате, освещенной лампадами, и раз в году, во дни Озирисова плача, выносили ее на двор и открывали оконце, сделанное в спине ее так, чтобы солнечный луч падал прямо на лицо умершей: ибо сладко и мертвым видеть солнце живых.

– Радуйся, Эойя, – проговорила Дио тоже молитвенно. – Будешь во чреве Телицы, как мертвая во чреве земли и как дитя во чреве матери: умрешь и родишься в вечную жизнь!

В дощатой келийке, тесной и темной, как гроб, пропахшей насквозь бычьим стойлом, теплотой навозною, Дио-жрица одевала Эойю послушницу в белые одежды, венчала белыми цветами шафрана, как невесту к венцу.

Видя их вместе, легко было ошибиться, как ошибся Тутта: «мальчик и девочка». Рядом с Дио Эойя казалась почти ребенком: худенькое тело, слишком гибкое, как стебель водяного цветка; рыжие волосы с тусклым отблеском старого золота, слишком мягкие; розовое пламя крови сквозь белизну кожи, слишком прозрачную; детские веснушки около глаз, но недетская грусть и страсть в темных глазах.

Когда Дио сказала давеча: «умрешь», знакомая боль неутолимой жалости, неискупимой вины пронзила ей сердце. Обняла Эойю и поцеловала в глаза, чувствуя, что вся она отдается ей, как тонкая водоросль колыханью глубокой волны. Девочка закинула голову, закрыла глаза под поцелуем; лунный луч упал на лицо ее, и оно побледнело, как мертвое.

«Что я с нею делаю? – подумала Дио с вещим ужасом. – Невесту ли готовлю к венцу, или жертву к заклятию?»

Издали послышались гулы тимпанов и визги флейт. Дио и Эойя вышли на ристалище с пустыми полукругами скамей, белевшими почти ослепительно под светом полной луны.

Из главных ворот под царским шатром выступило шествие лунных жриц. В остроконечных тиарах с низким, до пояса, вырезом платья, обнажавшим сосцы, в широких, наподобие колокола, юбках, с многоцветными оборками и серебряным спереди, по золотому полю, шитьем – кустами шафранных цветов, – сами они в этих странных одеждах, мерцавших лунным серебром и золотом, подобны были

Мережковский Д. Рождение Богов (Тутанкамон на Крите) filosoff.org
сказочным лунным цветам.

Выкатили чучело Телицы, на колесиках, огромное, точеное из кипарисового дерева, обтянутое настоящею белою коровьей шкурою; поставили его посередине ристалища, и тут же, перед ним, три знаменья: медную секиру, двуострую, – знаменье Сына закланного; два глиняных бычьих рога с тремя между ними побегими лозными – Древами Жизни, – знаменье Отца несказанного; и три, на одном основании, глиняных столбика с тремя голубками, – знаменье Девы-Матери. Так повторялась трижды тайна божественных чисел: Три в Одном.

Благообразная старица, начальница игр, мать Анаита подошла к Эойе, взяла ее за руку, подвела к Телице и спросила:

- Чиста ли ты, девушка, от пищи животной?
- Чиста, – ответила Эойя.
- Чиста ли ты, девушка, от крови человеческой?
- Чиста.
- Чиста ли ты, девушка, от соития с мужем?
- Чиста.
- Войди же в брачный чертог. Радуйся, богом любимая!

В спине Телицы открылся люк. Эойя взошла к нему по лесенке, спустилась в пустое чрево, и люк захлопнулся.

Флейты завизжали, загудели тимпаны. Лунные жрицы, тихо, как тени луны по ночным облакам, скользя по лабиринтным извилам плясового круга, окружили Телицу, завили ее в хоровод лунных цветов и запели песнь невесте Солнца-Быка, Луне в полнолунии, Пазифаие – Всеозаряющей:

Радуйся, чистая Дева,
Брачное ложе готовь!
Ярость небесного гнева
Да отвращает любовь.
Из темного чрева
Слышишь ли, Дева,
Бычьего рева
Яростный зык?
Бык, Бык, Бык,
В чреслах Телицы Божественной,
Деву покроешь, любя.
Песню торжественной
Славим тебя, Богом избранная,
Богу закланная,
Дева-Мать несказанная!
Хор удалялся, песнь умолкала – умолкла, и на опустевшем ристалище
воцарилась лунная тишина.

Вдруг на белом песке задвигались черные тени, тени бычьих рогов. Белый, как белая пена морей в сияньи луны, приблизился к Телице Бык.

Лежа на мягкой подстилке свежескошенных трав, в смолистом благовоньи кипарисового гроба-чрева с искусно проделанной для притока воздуха отдушиной, глянула Эойя сквозь дырочку глаза и увидела морду быка так близко, что казалось, он дышит ей прямо в лицо. Но не испугалась и не засмеялась, только улыбнулась: «Какой большой, а молочком от него пахнет, как от теленочка! Беленький, бедненький!» – почему-то вдруг вспомнила предсмертный взор заколаемых жертв, и сердце пронзила ей знакомая боль неискупимой вины, неутолимой жалости, и вместе с болью тихий восторг, как тихий свет Всесветящей: узнала, что в жертве – Бог.

Бык отошел от Телицы: учуял, что она неживая; мудрее был, чем думали люди.

Сонный, побрел по ристалищу. Лег на землю, поднял глаза с тихим мычанием, как бы вздохом любви, к Всесветящей, Возлюбленной, и, под ее поцелуем, закрыл их – заснул так сладко, как спят только звери и боги.

Сладко заснула и Эойя во чреве Телицы. Снилось ей, что целует ее в глаза Мальчик-Девочка, и под Его-Ее поцелуем умирает она – рождается в вечную жизнь.

III

– Дио полюбит тебя, только убей сучку, – говорил Таммузададу, железному купцу, Диин двоюродный дядя, почтенного вида старик, владелец богатейших в Кноссе погребов винных и оливковых, Кинир, сын Уамара.

– Какую сучку? – спросил Таму.

– Эойю.

– Зачем ее убивать?

– Чтобы с Дио снять чару. Приворожила она ее, испортила. Разве не видишь: всегда вместе, водой не разольешь. У этих ведьм чары-присухи могучие.

– Эойя – ведьма?

– Да еще какая! Мимо не пройду, не отплевавшись. Помни: пока эта девчонка жива, не видать тебе Дио, как ушей своих.

– Как же ее убить?

– А я уж знаю как, все за тебя сделаю; только скажи.

– Нет, ты скажи, как?

– Поклянись, что не выдашь.

– Клясться не буду, а вот тебе слово: не выдам.

– Сделаю так: подговорю кого надо, в ристалище; пьяным пойлом опоят быка, и как выйдет она с ним плясать, он взбесится, вздернет ее на рога. И ничьей вины не будет, только жертва, богу угодная.

– Вот как просто! Ну, а если узнают?

– Меня казнят, а ты в стороне.

– Для кого же ты будешь стараться?

– Для Дио. Ей лучшего мужа не надо, чем ты.

– Любишь ее так?

– Люблю. Один я у нее на свете: сиротка, ни отца, ни матери.

Таму усмехнулся, вспомнил, что ему рассказывала Зенра, Диина няня: однажды ночью забрался старик в спальню к племяннице, хотел ее осрамить, но она избила его, как собаку, едва не убила до смерти.

– Для нее только и будешь стараться?

– Нет, и для тебя.

– А я-то тебе что?

– Ты – великий человек, Таммузадад, сын Иштарра-мана: железо нашел, а железо мир победит. Возьми меня в долю, купец; вместе отправим корабль за железом. Только скажи «да», и Дио будет твоею. Ну что же, по рукам?

– Нет, я еще подумаю.

Эойя родом была из полуночного фракийского племени Эдонян, соседнего с племенами Пелазгов, Ахеян, Данаев и других Железных людей.

Эдонийские жены и девушки, бегая по лесам и горам, в ночных радениях,

Мережковский Д. Рождение Богов (Тутанкамон на Крите) filosoff.org
неистовых плясках, обуянные богом Загреем-Ваххом растерзанным, терзали живую жертву, тельца или агнца, ели сырое мясо и пили горячую кровь, чтобы причаститься богу.

Однажды, проплывав всю ночь, сбежали на берег моря, пали, изнеможенные, на песчаной косе, как стая птиц, прибитая бурей, и заснули мертвым сном.

Хитрые гости морей, финикийцы, плывшие мимо, увидели издали женщин, потихоньку причалили, бросились на них, как ястреба на голубок, и уже влекли на корабль, когда на крики женщин сбежались пастухи из соседних долин и отбили всех, кроме одной, Зймлы, дочери Огига, старшины Эдонийского.

Земля билась в плену, как птица в сетях; хотела наложить на себя руки. Но потом присмирела: почувствовала, что под сердцем у нее шевельнулось дитя, и для него захотела жить. Верила, что зачала от бога, в сонном видении, а подруги думали, – от пастуха, отцова наемника. Так случалось нередко: где-нибудь в логе лесном, при свете звезд, исступленная фиада соединялась в любви, сама не зная с кем, как звериха со зверем, или богиня с богом.

Месяца через два финикийцы вернулись в родную гавань, Библос-Гэбал, у подножия Ливана, и здесь продали Землю жрецу Астарты и Молоха, Итобалу. В доме его и родила она дочку, Эюю.

Вдовый старик Итобал имел сердце доброе, хотя и приносил маленьких детей в жертву Молоху. Долго мучился этим, а потом привык, утешаясь тем, что и Авраам, такой же, как он, ханаанский жрец Ваала Огненного, за такую же святую и страшную жертву наречен «другом Божиим».

К Зймле Итобал был милостив: возвел ее в почетное звание священной блудницы в храме Астарты, а Эюю полюбил, как родную дочь, и, когда она подросла, удочерил ее по закону.

В священной Астартовой роще, где покоились обугленные кости маленьких детей, принесенных в жертву богу, и чистые души их, казалось, возносились в благоухании фиалок, – как фиалка, росла и цвела Эюя, дочь Итобала.

Ей минуло двенадцать лет, когда жрица Дио, дочь Аридоэля, прибыла на корабле из Кносса с дарами и жертвами Астарте: в ней чтили Критяне свою Великую Матерь. Дио прожила в доме жреца Итобала около месяца. С Эюей почти не говорила, но чувствовала, что девочка влюбилась в нее тою детскою влюбленностью, которая кажется взрослым смешной.

В последний вечер, накануне отъезда, когда они остались одни в священной роще Астарты, она сказала Эюе:

- Хочешь, я возьму тебя с собою на Остров, девочка?
- Как возьмешь? Совсем?
- Совсем.

Эюя посмотрела на нее долго, молча, и, наконец, тихо ответила:

- Возьми.
- Да ведь не отпустят?
- Да, не отпустят, – согласилась Эюя; опять помолчала, подумала и сказала еще тише:
- А я убегу.
- Не убежишь: ты ведь отца и мать любишь.
- Я тебя... – начала Эюя и не кончила; вдруг вспыхнула вся, а потом побледнела.
- Я тебя больше люблю, – прошептала страстным шепотом.
- Глупенькая! – засмеялась Дио, обняла ее, поцеловала в глаза, в детские

Мережковский Д. Рождение Богов (Тутанкамон на Крите) filosoff.org
веснушки около глаз, и почувствовала, что вся она отдается ей, как тонкая водоросль колыханию глубокой волны.

– Глупенькая, разве можно так говорить?

– Можно. Я тебя одну люблю, – сказала Эойя со страшною, недетскою силою любви. – Возьми меня с собой. Только скажи – и убегу!

Души сожженных детей возносились в благоухании фиалок, и в светлом, между черными кипарисами, небе, еще беззвездном, теплилась одна вечерняя звезда, звезда Его-Ее, Девы-Отрока.

Дио взглянула на нее; уже не смеясь, тихонько оттолкнула девочку и молча, быстро ушла.

А на следующий день, когда корабль отплыл в море так далеко, что не видно было берега, узнала она, что Эойя на корабле: подкупила кормчего золотым ожерельем, подарком отца, и тот спрятал ее между тюками товаров.

– Негодная, негодная девчонка, сумасшедшая, что ты наделала! – накинулась на нее Дио; но, взглядевшись в лицо ее, поняла, что нельзя ее бранить, как лунатика, идущего по краю пропасти.

Пловцы не захотели возвращаться для незнакомой девочки, а до Крита не было гаваней. Дио решила отправить ее обратно с первым кораблем из Кносса. Но не отправила: полюбила Эойю так же безумно, как та ее.

На острове Крите, на горе Диктейской, близ пещеры, где родился Младенец бог, была святая обитель, Пчельник Матери. Там девы-затворницы жили под надзором Великой Пчелы, первосвященницы. У каждой жрицы была послушница: у Дио – Эойя. Четыре года провела она в обители, учась божественной мудрости словом, а больше пляскою, потому что немая пляска мудрее всех человеческих слов.

В конце первого года прибыл в Кносс Итобал, случайно узнавший, где находится приемная дочь его, и потребовал выдачи ее как беглой рабыни. Ему ответили, что в Пчельнике нет рабынь, а есть только святые девы под святым покровом Матери, и что их не выдают никому.

Он уехал, прокляв дочь и велев ей сказать, что она убила мать: Земла умерла от тоски по дочери.

Плясуньи для бычьих игр на Кносском ристалище набирались из жриц и послушниц. Попала в набор и Эойя.

Покинув Пчельник, поселилась она у Дио, в загородном доме ее, близ Кносской гавани, на самом берегу моря, среди кипарисовых роц, виноградников и шафранных садов.

IV

На третий день после брака Эойи с богом Быков, Дио совершала над нею священный обряд омовения в море.

Сняв с нее подвенечный убор, бросила его в волны, зачерпнула воды в чашу, окропила Эойю и прочитала молитву:

Мать, любовью твоей
Царство Морей
Осени,
Всех детей
Сохрани.
Вопль погибающих
В море услышь,
Бурь налетающих
Ярость утишь.
Даруй ветер благовеющий,
Парус белеющий
Тихо неси.
Всех помилуй, спаси,
Всем пошли благодать,

Мережковский Д. Рождение Богов (Тутанкамон на Крите) filosoff.org
Мать!

По обряду жрица и послушница должны были вместе выкупаться в море.

В пляске давно уже привыкли они видеть друг друга почти нагими; но никогда еще не видели нагими совсем. Сняв последний покров, Эойя вдруг застыдилась, поскорее бросилась в море. И Дио – за нею.

Глубокий залив вдавался в берег. Шум бурунов слышался издали. Там волны кипели и выли, обливая острые скалы соленую пеною. А здесь, в заливе, была тишина; только чуть-чуть колыхалась сплошною глыбою стекла голубовато-зеленого вода, такая прозрачная, что каждый камешек, каждая ракушка виднелись на дне.

Наготы купальщиц не скрыла вода; но в холоде ее невинном стыд потух.

Плавали обе, как рыбы. Играли, шалили, брызгали друг в друга сапфирными брызгами, и смеялись, кричали, визжали от радости; радовались так, как будто вернулись на родину: море им было роднее земли.

Подплывали к бурунам, взлезали на скользкие камни, обросшие черно-зелеными волосами водорослей, и жадно дышали их устрично-соленую свежестью. Подставляли спину набегающим валам, и покрывал их, как Бык, Пазифайин возлюбленный – ревуший, скачуший, белую пеною блещущий вал.

Нырjali, как водолазики. Глядя друг на друга под водой, не узнавали друг друга: призрачными казались лица и тела; белое тело Эойи – голубовато-серебряным; смуглое тело Дио – серебряно-розовым; оба, как цветы подводные.

И подводная жизнь кипела вокруг них таинственно. Рыбы, проплывая, глядели круглыми глазами, пристально; морской еж ежился; морская звезда мигала ресницами; таяла медуза опалово-лунная; слизняки выползали из раковин; тянулись из чаши кораллов чьи-то длинные щупальцы, усики, хоботы; чьи-то глаза в темноте, как гнилушки, светились.

Страшно им было страхом святым, как будто разверзлось перед ними божественное чрево Матери, ложесна несказанные, где зачинается все, что было, есть и будет.

И грубым казался солнечный свет после подводного сумрака, жар солнечный – убийственным. Но земные, к земле вернулись; выплыли на берег и легли на песок, уже не стыдясь наготы.

Вдруг Эойя вскочила, вскрикнула:

– Смотрит! Смотрит!

И бросила камень в миртовый куст, разросшийся густо над кручей скалы.

– Кто? – спросила Дио.

– Он, он! Таммузадад!

Дио тоже вскочила. Гневом озаренное лицо ее было грозно, как лицо самой Бритомартис, божественной Девы Ловчихи. Одной рукой схватила она покрывало золотисто-желтое с серебряными пчелками, – Таму узнал его, – а другую – копье. По старой привычке охотницы никогда не выходила из дому без лука или копья. Бросила его с такою силою в куст, что оно могло бы убить человека. Но тотчас опомнилась, побледнела, закрыла руками глаза, чтобы не видеть, и прошептала с ужасом:

– Таму, брат мой, что ты сделал!

– Ничего, не бойся, убежал, – проговорила Эойя, тоже бледнея. – Вот как испугалась! А я и не знала, что ты его так любишь...

В тот же день Таммузадад сказал Киниру, сыну Уамарову:

– Помнишь, о чем мы с тобой говорили намердни?

– Помню.

– Дай руку.

Кинир подал руку. Таму ударил по ней, как купец на торгах, и сказал:

– В долю беру тебя, Кинир, сын Уамара, вместе отправим корабль за железом. Ладно?

Еще не веря счастью своему, Кинир взглянул на него исподлобья жадными глазами.

– Как же не ладно, как же не ладно! О, господин мой, да наградят тебя боги!
– всхлипнул он и бросился целовать руки его. – А сучку убить?

Таму ответил не сразу. Опустил глаза, как будто задумался. Вспомнил – увидел: на песке, у моря, лежат, обнявшись, «мальчик и девочка», а он, в кусте над обрывом, упал ничком, уткнулся лицом в землю и царапает ее ногтями, как смертельно раненный, хочет грызть: «грызть будешь землю», по слову древнего проклятья. И вдруг над самой головой просвистело копье. О, если бы чуть-чуть пониже!

– А сучку убить? – повторил Кинир, думая, что он не расслышал.

Таммузадад медленно, с усилием, поднял на него глаза и, зная, что будет так, как скажет, – сказал:

– убей!

v

О Таммузе далеко плач подымается!

Матка-коза и козленок заколоты;

Матка-овца и ягненок заколоты.

О Сыне возлюбленном плач подымается!–

пел Энгур, сын Нурдагана, на выжженном поле, плоской вершине скалы над заливом, где утром того же дня купались Дио и Эойя.

Старый раб Иштаррамана, Энгур бежал с Таму, когда тот убил, или думал, что убил отца своего; плавал с ним в далеких морях за железом, служил ему верой и правдой, но одряхлел, выжил из ума и стал никуда негоден. По просьбе Таму Дио взяла его к себе в пастухи.

Теплый ладан вересков, мяты, полыни, донника и запах овечьей отары, напоминавший пастуху родные кочевья в степях Сеннаарских, смешивались с морской соленой свежестью. Медленно всходили облака из-за холмов лиловеющих; медленно паслись овцы и козы; медленно падали звуки свирели, однообразно-унылые, звук за звуком, как слеза за слезою:

О Сыне возлюбленном плач подымается:

Ты – деревцо, в саду воды не испившее,

Вершиною в поле не расцветавшее;

Ты – росток, текучей водой не взлелеянный;

Ты – цветок, чьи корни из земли исторгнуты...

Дни Таммузова плача наступали каждый год, когда от летнего зноя увядали травы и цветы в родных степях Сеннаара. Вспомнил об этом Энгур и здесь, на чужбине. Плакала свирель его весь день – то умолкала, то снова плакала.

Знойный закат над выжженной цепью холмов уже клубился багровыми дымами, и вечерняя звезда затеплилась, солнечно-белая, Его-Ее звезда – Отрока-Девы, Таммуза-Иштар, а он все еще пел свою бесконечную жалобу о цвете увядшем, боге умершем, Таммузе:

Умер Владыка, умер Таммуз!

Псы блуждают в развалинах дома его,

На могильную тризну слетаются вороны;

Плач похоронный в буре звучит,

Звучит в непогоде свирель заунывная

О, сердце, о, сердце Владыки! О, ребра пронзенные!

Сидя над морем на краю обрыва, Дио и Эойя слушали молча. Так тихо потухал закат, так тихо теплилась звезда и плакала свирель, что тишина обнимала и слушающих.

- О чем он плачет? – спросила Эойя.
 - О боге умершем, Таммузе, – ответила Дио.
 - Таммуз, Озирис, Аттис, Адон ханаанский и ваш Адун, и наш Загрей-Дионис, – все боги умирают?
 - Все, или Один во всех.
 - Зачем?
 - Ты знаешь, зачем.
 - Да, знаю: чтобы воскреснуть и воскресить мертвых; так на Горе учат. Да ведь я глупая: не понимаю..
 - Не понимаешь, как воскрес?
 - Нет, как умер. Разве может Бог умереть?
 - Ты и это знаешь.
 - Знаю: родился человеком, чтоб умереть... Совсем человеком?
 - Совсем.
 - Как я, как ты, как все?
 - Как все.
 - Тут у вас, на Острове, и жил?
 - Да.
 - Ну, еще бы! Тут и пещера, где родился, и гроб, где погребен: уж значит, тут и жил...
 - Зачем ты так говоришь? Как будто не веришь?
 - Нет, верю... Иногда верю, а иногда не верю. Не знаю, ничего не знаю, – сказала эта девочка, почти ребенок, так же, как скорбный мудрец, Таму.
 - Ну, а как же Он умер? – продолжала Эойя. – Вепрь, говорят, на охоте убил; да ведь это только так говорят. А на самом деле, как?
 - Не знаю.
 - Нет, знаешь. Скажи, Пчелка!
- И спросила ее на ухо, шепотом:
- Люди убили Его?
- Дио молча наклонила голову.
- О, сердце, о, сердце Владыки! О, ребра пронзенные! – плакала свирель.
- Как страшно он плачет... А за что Его убили? – опять спросила Эойя и, не дожидаясь ответа, зашептала с возрастающим ужасом:
 - Мне матушка сказывала: бог Загрей-дионис родился человеком, Орфеем певцом. Так сладко пел, что звери и камни слушали его, а люди убили, растерзали и разметали члены его на все четыре стороны. Ты об Орфее слышала?
 - Да. Он и у нас, на Острове, был.
 - Орфей значит Темный. Почему Темный?
 - Так люди смеялись над ним, потому что свет казался им тьмою.

- За то и убили?
 - За то.
 - И если бы опять пришел, опять убили бы?
 - Опять.
 - А Зенра рассказывает, - вспомнила Эойя, - что и Озириса убил Сэт, брат брата, и тоже растерзал и разметал члены его на все четыре стороны...
- Помолчала, потом взяла Дио за руку и, глядя на подвешенный к ее запястью талисман-аметист с вырезанным четырехконечным крестиком, спросила:
- А это у тебя что? Его знак?
 - Его.
 - Да, четыре палочки - четыре конца света, куда разбросаны члены Его... А что Сына убьют и растерзают, знал Отец?
 - Знал.
 - И Мать знала?
 - И Мать.
 - Как страшно. Пчелка, как страшно! Отец и Мать отдали Сына на растерзание. На земле и на небе одно, и деваться некуда... Итобала, отца моего, помнишь?
 - Помню.
 - Ведь добрый-предобрый, мухи не обидит, а маленьких детей сжигает. Запах жженого детского мяса, говорит, «приятное благоухание Господу». И Авраам праотец другом Божиим наречен за то, что готов был сына своего заклать... Отцы и матери сами приносят детей в жертву и, когда они горят, не плачут, а если и плачут, трубы трубят, гремят кимвалы, жрецы поют песнь Господу, чтобы не слышен был плач матерей... Да ведь слышит, слышит Мать! Запах жженого детского мяса возносится к Матери!
 - Молчи, не говори об этом! - сказала Дио так же повелительно-грозно, как тогда, в лесу, на Горе, в беседе с Таму безбожником.
 - Нельзя говорить? И думать нельзя? - прошептала Эойя.
 - Нельзя.
 - Как же не думать. Пчелка, как же не думать? Само думается...

Помолчала и потом заговорила уже как будто спокойно, задумчиво:

- Был сосуд у матушки из дома отчего, водонос фракийский, как сейчас вижу: старенький, глиняный, пузатый, с горлышком, ручка отбита. Как тащили ее на корабль разбойники, и водонос прихватили, думали, что в нем драгоценная масть; но увидели, что пустой, и отдали ей. Я, бывала, маленькая, все разглядываю, что на нем нарисовано красным по черному - понять не могу: три человека; двое по бокам стоят; один, в плющевом венке, с тирсом, как бог Загрей-Дионис, смотрит, усмехается; другой испугался, бежит; а третий, в середине, держит на руках мертвого мальчика. Человечки нарисованы плохо, а мальчик - так, что нельзя наглядеться. Только что, видно, зарезан; тело еще теплое, мягкое, как лохмотье, висит; голова закинута; волосы падают вниз, длинные, как у девочки; а лицо, как у бога. Человечек держит его на одной руке, а другой - оторвал от тела руку и поднес ко рту, хочет есть. «Что он с мальчиком делает? Зачем его есть?» - все пристаю к матушке. «А этого, говорит, детям знать нельзя. Погоди, уже вырастешь - узнаешь». Ну вот и узнала: прежде, чем бог родился человеком, растерзали его и пожрали Подземные, Ужасные. И в Загреевых таинствах жрицы-фиады, богом исступленные, жертву живую терзают и пожирают. Когда мне это матушка сказала, я так испугалась, что не посмела спросить, кто жертва, зверь или человек...

Эойя говорила, все время глядя на вечернюю звезду. Вдруг обернулась к Дио, посмотрела ей прямо в глаза и спросила почти теми же словами, как тогда, в лесу, Таму безбожник:

– А что, Пчелка, правда ли, что и у вас тут, на Острове, отцы и матери детей своих приносят в жертву?

– Молчи, не смей! – так же как тогда, воскликнула Дио. – Если ты еще слово скажешь...

– Ну, что? – проговорила Эойя с вызовом. – Разлюбишь? Да ведь и так не любишь, будто я не знаю! Таму, брата своего, любишь, а не меня... А помнишь, говорила, что когда войду во чрево Телицы, бог мне скажет все? Ну вот и сказал.

– Что сказал?

– Сама знаешь что: если Бог такой, как думают люди, то это не Бог, а дьявол!

– Молчи, молчи, безбожница, проклятая!

Дио занесла над нею руку, как будто хотела ударить. Лицо ее было так страшно, что Эойя подумала: «Убьет. Ну, и пусть. Или я, или он!» И закрыла лицо руками. Дио тоже.

Так сидели они долго, молча. Умолкла и свирель. Все затихло. Только море дышало чуть слышно. В падающих сумерках свежее была свежесть волн соленая, теплее теплый ладан вересков, и звезда, солнечно-белая, в багровых дымах заката, еще белее, солнечней.

Вдруг Дио услышала, что Эойя плачет. Отняла руки от лица и обернулась к ней.

– Что ты? О чем?

Она ничего не ответила и заплакала еще сильнее. Дио обняла ее, чувствуя все худенькое тело ее, бьющееся от рыданий, как пойманная птица бьется в руке.

– Не любишь! Не любишь! Не любишь! – плакала так, что казалось, вся душа ее исходит слезами, как душа смертельно раненного – кровью. И знакомая боль неискупимой вины, неутолимой жалости пронзила сердце Дио.

Обнимала ее все крепче, прижимала к себе, целовала голову ее, гладила волосы и повторяла те бессмысленно-нежные слова, которыми матери утешают плачущих детей:

– Ну, полно же, полно, девочка моя хорошая, птичка моя маленькая, рыбка моя золотая, бабочка беленькая! Ну, перестань, не надо плакать. Разве не видишь, что я тебя?..

И сама заплакала. Эойя взглянула на нее, всхлипнула в последний раз и затихла.

– Любишь? Правда? – улыбнулась сквозь слезы. – А его?..

– Глупенькая, разве я могу его любить так, как тебя?

– Ох, Пчелка, люби меня, – все равно как, только люби! Ведь уж недолго. Мне все что-то кажется...

– Ну, что? Говори.

– Кажется, я скоро умру. Знаешь, какой мне сон приснился наемни: матушка, будто бы, ищет меня, ловит, поймать не может: глаза открыты, а не видят, как у мертвой. И я ее очень боюсь, думаю: если поймают, умру от страха. И вдруг поймала, и мне уже не страшно, а так хорошо, вот как с тобой сейчас. И целует, ласкает, совсем как ты, теми же словами говорит: «Птичка моя маленькая, рыбка моя золотая, бабочка беленькая, разве не видишь, как я тебя люблю?» И заплакала. А я проснулась и тоже плачу от радости... Ну вот.

Мережковский Д. Рождение Богов (Тутанкамон на Крите) filosoff.org
Пчелка, это и значит, что я умру скоро.

Дио хотела что-то сказать, но не было слов; только подумала: «Ну что ж, умру и я с нею. Может быть, и лучше так: нельзя жить и любить, как мы любим. Мать земную убили – этого не простит и Мать Небесная».

Вдруг опять свирель заплакала:

О Сыне возлюбленном плач подымается,
Плач о полях невсколосившихся,
Плач о потоках неорошающих,
Плач о прудах, где рыба не множится,
Плач о лесах, где тамарин не цветет,
Плач о морях, где корабль не плывет,
Плач о садах, где вино не течет,
Плач о матерях и детях гибнущих...

– Так плачет, как будто Бог умер и не воскрес, – сказала Зойя и, помолчав, спросила:

– Пчелка, а отчего ты не хочешь мне сказать всего?

– Что сказать?

– А вот, как умер и как воскрес. Ты ведь все знаешь?

– Нет, не знаю.

– Кто же знает?

– Никто, – сказала Дио и, подумав, прибавила: – Может быть, только один человек на земле знает о Нем.

– Кто?

– Царь Египта, Ахенатон.

Вакханки

I

Страшный сон приснился Туте: будто бы он сидит на царском престоле, по Идоминову пророчеству: «Радуйся, царь Египта, Тутанкамон!» Но услышал, что под ним журчит вода, огорчился и понял, что это не престол, а водяная уборная. Вдруг треск, гром – зашаталось сидалище, и он падает с него вниз головой в преисподнюю.

Проснулся в ужасе, услышал крики и, подумав спросонья, что кричат в соседней комнате, вскочил с постели.

– Ани! Ани! – позвал письмоводителя. – Что это, слышишь? Уж не земля ли трясется? Беги скорей, узнай!

Ани сбегал, вернулся и успокоил его: земля стоит крепко, а кричат здешние люди, потому что наступили дни Адунова плача.

– Чудаки! – удивился Тутта. – Так вопят, как будто и вправду случилась беда.

Лег снова в постель, но заснуть уже не мог, все прислушивался к воплям.

Когда рассвело, велел подать носилки и отправился слушать плач. Встретил по дороге Таму и пригласил его с собою.

По всему дворцу и городу люди бегали, как будто искали кого-то, или, сидя у святых оград, били себя в грудь, рвали на себе волосы и под жалобные звуки похоронных флейт кричали и плакали:

– Аии Адун! Аии Адун!

Выставляли глиняные сосуды с недолговечными цветами на солнечный припек, чтобы поскорее увяли они; и плакали над ними так, как будто знали, что и все великое Царство Морей погибнет, как Адунов цвет недолговечный:

Ты – цветок, чьи корни из земли исторгнуты.

А за святыми оградами жрицы в исступленной пляске вырывали из глиняных чанов-жертвенников посаженные в них святые деревца Адуновы; бог был в каждом из них: вырывая деревцо, убивали бога-жертву.

Таму вслушался в плач:

– Увы, мой Брат! Увы, Сестра моя! Любимый, Любимая! Месяц двурогий. Секира двуострая! Адуна-Адун! – зывали плачущие.

– Проклятое царство проклятой Лилит! – бормотал он сквозь зубы.

– Что ты говоришь? – спросил Тута.

– Плакать, говорю, будут дураки шесть дней, что дважды два четыре, а на седьмой – обрадуются, что дважды два пять!

– Что это значит?

– Значит: умер человек – дважды два четыре, а воскрес – дважды два пять.

– А ты не веришь, что воскрес?

– Я, железный купец, знаю, что вера железа не сломит!

В седьмой день, воскресный, Тута отправился на Диктейскую гору, чтобы принести дар царя Ахенатона богу Адуну.

В полуторадневном пути от Кносса, на южном склоне Горы, над круглою, как чаша, котловиною, дном высохшего озера, находилось святейшее место Крита – пещера, где родился Младенец – бог.

Узкая тропинка подымалась к ней по круче скал, где блеяли козы и пчелы жужжали, так же как в древние дни, когда бога-Младенца поила коза Амалфея молоком и пчелы Мелиссы кормили медами горных цветов. Внизу котловина пылала, как раскаленная печь, а здесь, наверху, уже слышалось первое веяние вечных снегов. Но все было здесь голо, мертво, выжжено; только у входа в пещеру одинокий тополь зеленел неувядаемо, как райское древо жизни.

Туту окружили Пчелы, жрицы, молодые и старые. Дио была среди них. Он подошел к ней и попросил напитаться: в святой ограде бил родник. Она зачерпнула воды в чашу и подала ему.

– Как же ты решила, дочь моя, едешь со мною в Египет? – спросил ее Тута.

– Еду, если царь и великая жрица позволят.

– Царь уже позволил, не откажет и жрица. А ты сама не раздумашь?

– Нет, не раздумую. Отчего ты не веришь мне?

– Оттого, что у молоденьких девушек мыслей много.

– У меня одна мысль.

– Какая?

«Видеть царя Ахенатона, величайшего из сынов человеческих», – хотела она сказать; но, взглянув на Туту, почувствовала, что лучше с ним об этом не говорить.

– Ехать, ехать! – сказала так радостно, что и он обрадовался: будет, чем похвастать, вернувшись домой: такой плясуньи, как Дио, не видал еще царь Египта; никто не приносил ему такого дара, как эта жемчужина Царства Морей.

– Мать Акакалла ждет тебя. Пойдем, – сказала Дио и повела его за руку в пещеру.

Сразу вступив из дневного света в подземную ночь, Тута как бы ослеп, а когда опять начал видеть, ночь осветилась багровыми светомы факелов. Но

Мережковский Д. Рождение Богов (Тутанкамон на Крите) filosoff.org
пещера была так велика, что дальние углы ее оставались во мраке, и свод казался провалом в черную ночь. Древние старухи, жрицы, стоя в два ряда, держали факелы. Проходя между ними, Тута чувствовал, что ноги его угружают во что-то мягкое, как пух: это был тысячелетний слой пепла от сожженных жертв.

Направо от входа возвышался первобытный жертвенник – четырехугольная куча камней: должно быть, первые поклонники Матери, дикие люди пещер, воздвигли его в незапамятной древности. Здесь приносились не только животные, но и человеческие жертвы. Налево искрилась белая чаша сталактитов, стоячих и висячих, огромных, как стволы деревьев. Там была вторая пещера, нижняя – Святое Святых, как бы разверстое чрево Матери Земли, страшная дверь из этого мира в тот. Кроме великой жрицы, никто никогда не заглядывал в нее. Там и родился Младенец бог.

В глубине верхней пещеры сидела на низком каменном стульце старуха древняя, древнее всех остальных, непомерно тучная, вся налитая желтым жиром, точно распухшая от водянки. На голове ее был остроконечный колпак с косыми полосками, желтыми и красными; на груди низкий, до пояса, вырез одежды обнажал два чудовищных сосца – два коровьих вымени или пустых бурдюка, темно-бурых, сморщенных, отвислых, как сосцы беременной суки. Все тело опутано было какими-то металлическими блестящими веревками.

Это была мать Акакалла, великая жрица. Тута много слышал о ней: царь Идомин ненавидел ее, подозревая в тайных сношениях с братом своим, Сарпедомином изгнанником, а народ любил и чтит ее, называя пресвятою, премудрою. Некогда спорила она с царем из-за престола: помнила те дни, когда в Царстве Морей властвовали жены, по древнему завету Матери: «Муж жене да повинуется».

С помощью нескольких жриц, подхвативших ее под руки, чуть-чуть привстала она, крихтя и охая, подняла руки, чтобы благословить Туту, и вдруг металлические веревки на ней зашевелились, заползали; Тута понял, что это змеи. Спутываясь в клубки, петли, узлы, обвивали они бедра ее поясом, шею – ожерельем, руки – запястьями; одна повисла на ухе серьгой; другая, обвив колпак и свесившись на лоб, выставила вперед плоскую головку с трепещущим жалом.

Тута испугался, но не очень: вспомнил, что Диктейские жрицы умеют приручать ядовитейших гадин, вырезая у них из-под зубов железки с ядом, и что мать Акакалла – обаятельница змей.

– Чудо великое возвещает людям Мать всех, – заговорила она по-критски гнусаво-певучим голосом, как бы читая молитву. – Святым своим возвещает, верным, а вкравшимся обманом, противится. Входите же к ней только святые, чистые сердцем, да дело божье узрите – чудо воскресения!

Тута стал на колени и подал ей царский дар, золотое, плоское, как щит, жертвенное блюдо. Мать Акакалла начала его рассматривать одним глазом. Только теперь заметил он, что она кривая.

На блюде шли кругами выпуклые оттиски: в первом, внешнем кругу – священные египетские змейки, Уреи; во втором – вавилонские ангелы; в третьем – критские двойные секиры; а в средоточии кругов – солнечный шар бога Атона с простертыми в виде человеческих рук лучами, благословляющими царя Египта, Ахенатона; над шаром – критская надпись Адун-Атон, а по обеим сторонам царя – надпись иероглифами.

Мать Акакалла прочла ее вслух:

– «Все племена и языки пленил ты в свой плен, заключил в узы любви, соединил, Единый. Истину свою открыл сыну своему едиnorodному, Ахенатону Неферхеперура Уазэра. Отца же не знает никто, кроме Сына».

Вдруг лицо старухи сморщилось, губы задрожали, слезинка выкатилась из глаза. Обеими руками подняла она блюдо, поцеловала его и воскликнула:

– Истинно так: Отца не знает никто, кроме Сына! Благословен будь, Сын Отца едиnorodный, Ахенатон Уазэра!

Потом обернулась к Дио, подала ей блюдо и сказала:

Мережковский Д. Рождение Богов (Тутанкамон на Крите) filosoff.org
– Вот он! Узнаешь?

Дио вглядывалась в лицо его с таким чувством, как будто узнавала после долгой разлуки лицо брата. Тоже поцеловала его.

– К нему, к нему ступай, доченька! Не здесь тебе место, а там, у него! – воскликнула мать Акаалла, и вдруг единственный глаз ее вспыхнул, как раскаленный уголь.

– Попляши пред ним во славу Адуна-Атона! Выше, выше, выше ноги задирай, вот так!

И смеясь, и плача вместе, подняла она юбку, оголила чудовищно толстые ноги-обрубки и задвигала ими, как будто заплясала, неуклюже-расслабленно.

– А ты кто? – вдруг спросила Туту по-египетски, глядя на него так, как будто только сейчас увидела.

– Посол царя.

– Знаю, что посол, а как звать?

– Тутанкатон.

– Тутанкамон?

– Нет, Тутанкатон.

– Был Амон, стал Атон, и снова будет Амон. Так что ли? Мяу-мяу! Кошек любишь?

– Люблю.

– То-то, сам похож на кота. А Великая Мать – кошка у вас?

– Матери у нас нет; прежде была, а сейчас нет.

– Как же Сын без Матери?

– По учению царя...

– Врешь! Скажет он тебе свое учение, дурак! – проворчала старуха по-критски и вдруг рассердилась, затопала ногами, замахнулась на Туту костью. – Врешь, пес, псицын сын, безбожник! Нет Сына без Матери!

Тута слов не понял, – понял только, что она ругается. Не обиделся: знал, что на великую жрицу обижаться нельзя; всякая брань от нее, даже удар костью – благословение. А все-таки подумывал, как бы убраться подобру-поздорову.

Но старуха уже успокоилась, заговорила с ним ласково; только хитрая усмешка светилась в глазу.

– Дело твое верное, сынок: будешь, кот, мышиним царем! Такого им и нужно, как ты. Умалится великий – малый возвеличится. Радуйся, царь Египта, Тутанкамон!

«Ах, ведьма проклятая, точно подслушала царя Идомина!» – удивился, почти испугался Тута.

Заговорили о Диинном отъезде.

– Пусть едет, благослови ее мать! – ответила старуха и замолчала, закрыла глаз, как будто заснула.

Тута понял, что свидание окончено. Хотел поцеловать у нее руку, но не решился: змеи кишели отвратительно. Низко поклонился и вышел.

Вышли и все остальные по знаку великой жрицы. Осталась только Дио.

– Поди сюда, – позвала ее мать Акаалла. – Что у тебя на сердце, доченька?

Мережковский Д. Рождение Богов (Тутанкамон на Крите) filosoff.org
Отчего невесела?

– Сама не знаю, матушка... Тяжко мне, страшно, – проговорила Дио и опустила на колени.

– Ничего, порадеешь ужо, попляшешь, – легче будет. Радения, пляски богу Адуну воскресшему с ночными хорами исступленных жриц-фиад совершались на Диктейской Горе каждый год, в конце лета.

– Матушка, позволь... – начала Дио и не кончила.

– Ну что, говори.

– Позволь не радеть.

– Отчего не хочешь?

– Не могу. Нечиста, – прошептала Дио и закрыла лицо руками.

– В чем? – спросила старуха.

Дио молчала.

Мать Акакалла тихонько отвела руки ее от лица, заглянула ей в глаза и молча указала пальцем на жертвенник. Дио побледнела и, так же молча, наклонила голову. Поняли друг друга без слов.

В этой самой пещере, на этом самом жертвеннике, лет десять назад, принесен был в жертву младенец Иол, сын Аридоэля, Диин брат. Остров постигли тогда великие бедствия: война, голод, мор, землетрясение. Ужасом обуянные люди не знали, чем утолить ярость богов. Мать и Сына забыли, помнили только Отца – Огнь поядающий, как будто и здесь, в Царстве Морей, в громах подземных, откликнулись небесные громы Синая: «Отдавай мне первенцев своих и будешь у Меня народом святым». Иола, сына своего, долго не хотела отдать Эфра, жена Аридоэля. В те дни плавал он в далеких морях Полуночных, и третий год ждала она его, терзаясь пыткой надежды и страха. «Сына не отдашь – мужа не увидишь: выбирай», – сказала ей жрица-пророчица, и Эфра поверила – выбрала – отдала сына. А через немного дней, узнав, что муж погиб, удавилась.

– Простить не можешь? – спросила мать Акакалла.

– Не могу, – ответила Дио и, прижавшись лицом к голой, темной, сучьей груди старухи, заплакала детски-беспомощно.

– Разве можно простить? – прошептала сквозь слезы.

– Можно, – ответила жрица. – В уме – нельзя, а в безумии – можно. Да ты что спрашиваешь, будто не знаешь?

– Не знаю.

– Порадей – узнаешь!

– Радела, а вот не узнала...

– Не так, видно, радела, как надо.

– А как же надо?

– Дура! Дура! Дура! – закричала на нее старуха и так же, как давеча на Туту, затопала ногами в ярости. Сорвала колпак с головы; седые космы по лицу рассыпались; и судорожно, как будто задыхаясь, начала она срывать и отшвыривать змей.

– Ох, да ведь и я же дура старая, не лучше твоего! нечестивица, безбожница окаянная, восемьдесят лет на свете прожила, а никому добра не сделала! Учила тебя, думала: вот помру – будет наследница, великая жрица. А ты не великая жрица, а мокрая курица, тьфу!

Дио слушала ее с жадностью: грубые слова утоляли боль нежнее ласк.

Мережковский Д. Рождение Богов (Тутанкамон на Крите) filosoff.org

– А как же надо радеть? Скажи, как, – повторила с мольбою.

– А вот как, – заговорила старуха уже спокойно, как врач с больным. – Ума исступи – умудрись; себя потеряй – Его найди; из себя выйди – войди в Него; ослепни – увидь.

– А ты Его видела? – прошептала Дио.

– Одним глазком, одним глазком – в глазок попала искорка – оттого и окривела!

Вдруг все тучное тело ее заколыхалось, как студень, от тихого смеха.

– Глаз-то у человека, думаешь, сколько? Два? Нет, четыре. Два во лбу, а два в затылке. Эти ослепнут, а те увидят. Теми, теми, теми смотри, а не этими! Тогда и увидишь – узнаешь – простишь!

Зашевелилась грузно. Дио помогла ей встать, подала костыли и, припадая на больные ноги, побрела старуха медленно не к выходу, как думала Дио, а к нижней пещере, Святому Святых. Спуск в нее огражден был каменной стеною с бронзовою дверцею. Мать Акакалла подошла к ней, открыла ее и сказала:

– Войди!

Но Дио не смела войти: знала, что под страхом смерти никто, кроме великой жрицы, не должен входить в эту дверь.

Старуха толкнула ее грубо в спину. Она вошла, но наклонила голову, опустила глаза, чтобы не видеть Святого Святых; видела только белый лес сталактитов и у самых ног своих высеченные в скале ступени. Старуха опять толкнула ее. Она сошла на первую ступень; потом – на вторую, третью. Ступени были круты и скользки. Ноги у нее дрожали так, что она боялась упасть. Остановилась.

– Подыми голову, – сказала старуха. – Да подыми же, подыми, дура, девка негодная, чтоб тебя! – закричала и ударила ее по голове костылем.

Дио подняла голову и зажмурила глаза.

– Смотри, смотри! Видишь? – спросила мать Акакалла, держа над ней факел так, чтобы осветить глубину пещеры. Дио ничего не ответила, только зажмурила глаза еще крепче. А старуха заговорила над ней таким изменившимся голосом, что Дио показалось, что это не она говорит, а кто-то другой, из нее.

– Помни, помни, помни, Дио, дочь Аридоэля, великая жрица Матери: не человека терзает, а в человеке терзается Бог; не человека убивает, а в человеке умирает Бог. Слава Отцу, Сыну и Матери!

«Увидеть – узнать – умереть? Пусть, только бы знать!» – подумала Дио и открыла глаза – увидела.

Слезы сталактитов капали, красные от света факелов, точно кровавые, и на дне пещеры чернела вода, как лужа черной крови, а над ней висел, на белой стене сталактитов, изваянный из черного мрамора четырехконечный крест.

II

Тутанкамон с любопытством рассматривал маленькую, из горного хрусталя, чечевицу, резную печать, только что купленную для него художником Юти. Поднял ее на свет, чтобы лучше рассмотреть тончайший рисунок.

– Прелесть, прелесть! – хотел сказать, но не сказал: рисунок был слишком странен.

На цветущем, шафранном лугу, тонкие, гибкие, как водоросли, девушки, в критских юбках-колоколах, многосборчатых, казавшихся на рисунке шершаво-колючими, как сухие репейники, с осиными станами и голыми острыми сосцами, плясали исступленную пляску, терзавшую тела их, как судорога смертной муки, упоения смертного.

– Отчего они без голов? – удивился Тутанкамон, вглядываясь в реявшие над ними

Мережковский Д. Рождение Богов (Тутанкамон на Крите) filosoff.org
россыпи точек, звездочек вместо голов.

– А кто их знает, здешних мастеров! Сумасшедшие! – проворчал Юти и поморщился.

Знать не хотел, но чувствовал в безумии рисунка безумие пляски – головокружительный вихрь движения, скрывающий то, что движется: увековечить мгновенное, остановить летящее, – вот чего хотят эти беззаконники.

– Ну, а руки зачем подняли точно зовут кого-то? – опять спросил Тутта.

– Мертвого бога зовут, колдуют, – ответил художник все так же нехотя.

– А что, и вправду здешние девушки колдуют так?

– Вправду. Скоро на Горе заколдуют.

– И бог им явится?

– Кто-то является, а как знать – кто? Мерзости такие делают, что и сказать нельзя.

– любопытно, любопытно! Вот бы посмотреть!

Вошел Таму.

– А, железный купец! Еще не уехал?

– Собираюсь.

– Уж который раз! Какая тебя тут веревочка держит, а? Не влюблен ли?

– Влюблен. Ты все знаешь.

– Знаю и в кого. Сразу в двух. Обе девочки похожи на мальчиков: ты ведь любишь таких. Итана – блудница, а Дио – святая, ну да ведь это небольшая разница!

– Небольшая: как для голодного – мягкий хлеб или черствый, – усмехнулся Таму.

– А что ты такой желтый? – спросил Тутта, взглядевшись в лицо его. – Рана зажила?

– Зажила.

– Ну, так это от печени.

– Должно быть... А это у тебя что?

– Видишь, камешек. Волшебный – в нем сила большая для вызывания мертвых.

Таму взял чечевицу, тоже поднял ее на свет и взглянул на рисунок.

– Прелюбопытно, а? Так на Горе колдуют здешние жрицы. Вот бы, говорю, посмотреть, – сказал Тутта.

– А что ж, поедем на Гору, посмотрим, хочешь?

– Разве можно?

– Можно, если не боишься.

– Чего?

– Поймают – убьют: женщины не любят, чтобы мужчины видели, что они делают втайне.

– Да что ж они такое делают?

– Никто не знает, а, должно быть, не очень хорошее, если не хотят, чтобы

Мережковский Д. Рождение Богов (Тутанкамон на Крите) filosoff.org
люди знали.

- И наши будут там? – спросил Тута, все больше любопытствуя.
- Кто наши?
- Дио, Эойя.
- Будут.
- Да ведь они святые?
- Что из того? Ты сам говоришь, что между святой и блудницей небольшая разница, – рассмеялся Таму.

Начал говорить шутя, но не шутя кончил. «Любопытно!» – подумал и он, как Тута, и вдруг жадное желание пронзило сердце его, как укус скорпиона: еще раз поглядеть за «мальчиком и девочкой» – узнать, есть ли разница между святой и блудницей. Все чаще казалось ему единственным спасением – опозорить любовь свою, убить ее бесстыдством. «Одно из двух – убить любовь или себя. Да нет, проживу и подохну, как пес, а себя не убью!» – упивался он горчайшим из всех человеческих чувств – презрением к себе.

На следующий день Таму привел к Туте корабельного подрядчика Килика, плюгавого человечка с косыми, бегающими глазками. Тута узнал впоследствии, что Килик – негодяй отъявленный; но уже и тогда, глядя на него, вспоминал ходившие по городу слухи, будто бы железный купец якшается со всякою сволочью.

Килик взялся за хороший подарок устроить поездку их на Диктейскую гору. Поставлял на корабельные верфи пеньку, деготь, шерсть, скупая их по мелочам у пастухов и поселян на Горе. Один из них, пастух Гингр, обещал проводить их на место радений и спрятать так, чтобы они могли увидеть все.

- Будьте покойны, господа мои, не пожалеете, большое можете получить удовольствие! – повторял Килик.

- Какое же удовольствие? Говори толком, а то, может быть, и ездить не стоит, – допытывался Таму.

- Как же не стоит, помилуйте! Увидите, чего никто не видел, – все тайны женские...

Толком, однако, ничего не сказал, только подмигивал, ежился, усмехался таинственно и повторял:

- Большое можете получить удовольствие!

III

Дня через три поехали.

Килик проводил их до города Ликта, у подножия Горы; дальше ехать отказался наотрез и вдруг, получив подарок, куда-то пропал, как сквозь землю провалился, должно быть, чего-то испугался.

Туте это не понравилось. Впрочем, с дюжиной нубийцев-телохранителей, не страшным казалось ему и целое войско фиад. Когда перед самым отъездом Таммузадад спросил его: «Не боишься?» – он ответил ему с достоинством: «Я не трус, чтобы бояться женщин!»

В ликте ожидал их старый козий пастух Гингр. Переночевав в городе, выехали рано поутру, чтобы миновать засветло трудный Бычий перевал.

Главная дорога шла на Инат, Пиранфу, Гортину и далее, на южную столицу Крита – Фэст. Но скоро свернули на глухие тропы, а потом и с них на голый камень диких круч.

Тута ехал сначала в носилках, но скоро должен был пересесть на мула. Сделал это с неудовольствием: египтяне верхом не ездили, считая непристойным сидеть раскорячившись на спине животного.

Таму шел рядом с Гингром и расспрашивал его о тайнах фиад:

- Что ж они на Горе делают?
- Пляшут, исступленные богом.
- А не вином?
- На что им вино? Ключевой воды хлебнут – пьянее вина; ветра ночного глотнут – и тоже пьянехоньки.
- Видел, как пляшут?
- Сколько раз!
- И сам с ними плясал?
- Нет, нашего брата к себе не пускают. А один пляшу по-ихнему: выберу себе полянку в лесу, где поглуше, чтобы не увидел кто, не засмеял, – и прыгаю, старый козел, пляшу во славу Адуна. Эх, хорошо!
- Кто же тебя научил?
- Ихняя же козочка: отбилась от стада, полюбила козлика. Сколько лет прошло, а забыть не могу.
- Хороша была?
- Не то что хороша, а на других женщин непохожа: тело фиады, как тело богини; после нее всякая, что вода после вина.

Таму взглянул на старика: белый, как лунь, огромный, косматый, в косматом козьем меху, напоминал он ему вавилонского богатыря, звере-бога Энгиду:

Жизни людей он не знает,
Скотью богу подобен,
С козами в поле пасется,
Ходит со стадом на водопой.

- Чего же они хотят, зачем безумствуют? – продолжал Таму расспрашивать.

- А видел, сынок, как телка под оводом бесится? Жало божье в плоть человеческую – жало оводиное: судорога вверх по спине, до темени, как укус скорпиона пронзающий; и бесится девка под богом, что телка под оводом.

Помолчал, улыбнулся, как будто вспомнил что-то веселое, и опять заговорил:

- Находит, находит на них, а и сами не знают что. Сидит девушка за прялкой, тихо, смиренно, ни о чем, кроме шерсти да кудели не думает; вдруг слышит: зовет ее кто-то, далекий да ласковый, будто с того света возлюбленный. Вскочит, побежит – одна, другая, третья, и все зароятся, как пчелы над ульем. «Нб гору! Нб гору!» – кричат, бегут. От села к селу, от города к городу идет беснование жен, как поветрие.

- А что же дураки-мужчины смотрят? Зачем позволяют?

- Не позволишь – хуже будет: заскучают, руки на себя наложат, детей начнут убивать матери. Так-то три дочери Лама царя не покорились богу, не пошли радеть на Гору, и ума исступили, мяса человеческого взалкали, жребий кинули о детях своих, и та, на кого пал жребий, отдала сына богу, и растерзали они младенца и пожрали, как волчихи голодные... А о царе Пентее слышал? На Матерой Земле, полуночной, жил царь Пентей-Скорбный; не чтил бога, надругаться хотел над божьими тайнами; а фиады поймали его и растерзали; была среди них и мать его: сына не узнала, голову мертвого вздела на тирс и пошла с нею плясать... Нет, сынок, силен бог – с богом не поспоришь!

- А что, говорят, и здесь у вас, на Горе, терзают людей?

- Терзают. В позапрошлом году пастушка растерзали за то, что подглядывал. Бешеные – сами не знают, что делают. Им все равно, кто ни попадись, человек или зверь: во всякой жертве – бог...

- Какой бог, не бог, а диавол! – возмутился Таму.
- А ты, сынок, черного слова не говори. Он – здесь, на Горе: услышит – беда будет.
- Кто здесь?
- Сам знаешь, кто.
- А ты его видел?
- Нет, если бы видел, жив не остался бы.
- Почему же ты знаешь, что он здесь?

Старик ничего не ответил и вдруг засмеялся ласково:

- Ах, дурачок, дурачок!
- Это ты меня дураком называешь?
- Тебя, родной.
- За что же?
- А за то, что не умеешь отличить бога от диавола.
- А ты умеешь?
- Я-то? Хуже твоего – дурак старый. А есть кое-кто поумнее нас с тобою. Что слышал от них, то и говорю. Царь-то Пентей-Скорбный, думаешь, кто?
- Думаю, такой же человек, как я, не захотевший назвать диавола богом.
- Верно! И ты – Скорбный. Скорбен, потому что умен, да не мудр. Ну, а в тебе-то самом кто, в скорбном скорбит, в терзаемом терзается?

Таммузадад взглянул на него с удивлением.

- Не от себя говоришь?
- Не от себя.
- От кого же?
- Мать Акакаллу знаешь? «Великая, говорит, жертва – Сын: плоть его люди едят, кровь его пьют». Для того и терзают бога-жертву.

«Бога должно заклать», – вспомнил Таму.

- Бог, людьми пожираемый: хороши люди, хорош и бог! – усмехнулся он своей тяжелой, точно каменной, усмешкой и отошел от старика. Тот посмотрел ему вслед и покачал головой, как будто пожалел Скорбного.

Бычий перевал миновали уже в сумерках, спустились на дно пропасти, перешли Козий Брод, бушующий горный поток, опять вскарабкались на Гору, как мухи – на стену, и вышли на плоскогорье, голое, мертвое, как пустыня погибшего мира.

Наступила тихая, душная ночь с непрерывным блеском полыхающих зарниц.

- Будет гроза, – сказал Таму.
- Нет, пронесет: вон, Темя Адуново чисто, – указал Гингр на край плоскогорья, где в прорыве клубящихся туч что-то голубело, искрилось при блеске зарниц, как исполинский сапфир: то были вечные снега и ледники Диктейской горы.
- Пляшут и там, на снежных полях, – вспомнил Гингр пляски фиад в день зимнего солнцеворота, рождества Адунова. – Раз едва не замерзли,

Мережковский Д. Рождение Богов (Тутанкамон на Крите) filosoff.org
бедненькие! Видел я, как под вьюгой плясали: тела посинели, полуголые;
плещевые тирсы от мороза тонким хрусталем подернулись и звенели, точно
стеклянные...

Хотел и не умел рассказать, как чудесно плясали фиады – реяли в лунной
вьюге – лунные призраки.

Дорога сделалась ровнее. Тута пересел опять в носилки и пригласил к себе
Таму.

– Узнал от старика что-нибудь? – спросил его.

– Узнал. Килик не врет: большое можем получить удовольствие.

– Какое же, какое? – залюбопытствовал Тута.

– Увидим, как человеческую жертву терзают и пожирают. Не веришь?

– Нет, не верю.

– Отчего же? Люди ведь только и делают, что убивают и пожирают друг друга.
Надо быть волком или овцой: сам пожри, или тебя пожрут. Это в ненависти,
это и в любви. «Сладкое яблочко, съешь тебя хочется!» – поют мальчики
девочкам. Старая песенка, от начала мира одна: любить – убить – пожрать...

Говорил, как в бреду, весь дрожа от тихого смеха, как черное небо от белых
зарниц.

– Первый мир погиб в водах потопа, а перед концом люди с ума сошли, убивали
и пожирали друг друга в войне братоубийственной. Кажется, погибнет так же и
мир второй...

– Ну, когда-то еще мир погибнет, а пока что – «сладкое яблочко, съешь тебя
хочется» – недурная песенка! – рассмеялся и Тута.

– Недурная, если бы только знать, кто кого съест, ты ее, или она тебя.

– Нет, кроме шуток, что тебе старик сказал, могут нас съесть на Горе?

– Могут. Я-то, железный, – жесток для них, а ты – сладкое яблочко!

– Только бы хорошенькой девочке попасться на зубок, а не старой ведьме! –
смеялся Тута, как кот, мурлыкал.

Оба замолчали и молча смотрели, как полыхают зарницы – перемигиваются,
пересмеиваются огненные диаволы.

IV

Вдруг носилки остановились. Таму и Тута, высунувшись, увидели, что Гингр
припал ухом к земле – слушает. Прислушались и они, но ничего не услышали.

Гингр велел потушить факелы, стреножить мулов, отвязать бубенцы и людям не
шуметь.

– Дальше нельзя ехать, – сказал он. – Милости ваши со мной пешком пойдут, а
прочие подождут здесь.

Тута заспорил было, не захотел расставаться с нубийцами, но проводник
объявил решительно, что иначе шагу не сделает.

Пошли втроем: впереди – Гингр, держа в руке глухой фонарь так низко, что
свет падал только там, где ступала нога; за ним – Таму, а за Таму – Тута.
Шли в темноте, гуськом, как слепые, держась за руки.

Шагов через триста началась тропа, глухая, как звериный след в траве;
зачернела на белом огне зарниц паутина ветвей; под ноги стали ложиться
какие-то пуховые подушки, должно быть, моховые кочки; захлюпала под ногами
вода, и запахло камфарно-пряною, болотную сыростью.

Гингр остановился и опять прислушался. Слабый, почти неуловимый, звук

Мережковский Д. Рождение Богов (Тутанкамон на Крите) filosoff.org
донесся до них; но, сколько ни напрягали слуха, не могли понять, что это:
как будто большая муха билась о стекло, или ветер свистел в замочную
скважину. Звук замер, и казалось, ничего не было – только кровь от тишины
шумела в ушах.

Пошли дальше. Болото кончилось. На отлогом скате холма ноги заскользили по
хвое, как по льду, и в лицо пахнуло дневным, непростывшимся теплом смолистого
бора.

Черная паутина ветвей разорвалась, и при блеске зарниц увидели они у самых
ног своих голую стену скал и внизу поляну, окруженную, с одной стороны –
скалами, а с другой – соснами, с двумя просеками, должно быть, руслами
высохших потоков, – одною, прямо против них, идущую вверх, другою, направо,
– вниз. Поляна, круглая, как площадка плясового круга, зеленела гладкой,
точно садовой травкой с белыми звездами ромашек и лиловыми – колокольчиков.

У самой подошвы скалы, почти вплотную к ним, стояла сосна, такая высокая,
что ветви ее раскинулись над скалой шатром.

Гингр, войдя в шатер, осветил фонарем доску, перекинутую от скалы к сосне;
подал руку Туте, помог ему стать на доску и усадил на толстый, плоский сук,
изогнутый так, что можно было сидеть на нем, как на стуле.

– Хорошо тебе? – спросил Гингр.

– Лучше не надо. Как в царском шатре, на ристалище, – восхитился Тута.

На другом суку, пониже, уселся Таму, а над ними обоими – Гингр. Он потушил
фонарь, и чернота ветвей окутала их, смолисто-теплая.

Страшновато было Туте и любопытно, а Таммузададу – скучно, как будто он все
уже знал заранее.

«У-у-у!» – точно волки провыли вдруг где-то далеко-далеко на небе.

– Что это? – спросил Тута. Никто ему не ответил.

Что-то было в этом звуке не звериное, но и не человеческое, такое страшное,
что у Туты мороз пробежал по коже.

Провыли – умолкли, а потом опять – все ближе и ближе, все громче. Волки
выли на небе, а под землей ревели быки. И волчий вой, и бычий рев сливались
в шуме налетающей бури.

Вдруг между стволами сосен, на верхней просеке, полыхнуло красное зарево,
посыпались искры от факелов, и заплясали черные тени в багровом дыму.

Волчьим воем выли трубы – раковины, бубны ревели бычьими ревами, флейты
визжали неистовым визгом, и тяжкие гулы тимпанов раскатывались подземными
громами.

Бурей неслись исступленные женщины, девушки, девочки и старые старухи:
голова закинута; змеи сплелись в живые венки; волосы по ветру; белая пена у
рта; лица, точно в крови, в красном отблеске факелов. Дряхлые бабушки
нянчили новорожденных ланят, а молодые матери кормили грудью волчат.

Скатились на поляну по просеке; заплясали, запели, и казалось, вся Гора с
ними пляшет, поет:

Свист, визг, вой!
Мать из тучи грозовой
факелом замашет;
Загремит громовый зык,
И взревет земля, как бык,
И, как бык, запляшет.
Клик, гик, рев!
По горам, по долам,
Сонмы жен, сонмы дев,
Мы бежим, ворожим:
К нам, к нам, к нам!
Кто бы ни был ты, Господь, –

Мережковский Д. Рождение Богов (Тутанкамон на Крите) filosoff.org
Бык, Змей, Лев, –
Появись!

В плоть, в плоть, в плоть
Облекись!

Кругом по круглой поляне вился хоровод так воздушно-легко, что белые головки ромашек и лиловые – колокольчиков чуть склонялись под ним, как под веяньем призраков. Колесом вертелся круг большой, извне, а маленький – внутри, стоял, не двигаясь, как ось в колесе. Жрицы-фиады стеснились в нем так, что не видно было, что они делают: ноги не двигались, а руки шевелились, ходили проворно туда и сюда, как у чешущих гребнями шерсть.

«Что они делают – вглядывался Тута и все не мог понять. Вдруг показалось ему, что какое-то кровавое лохмотье между ними треплется; и с чувством дурноты закрыл он глаза, чтобы не видеть.

Тихо пели, и песнь звучала, как стон:

Господи, страждем,
Страждем, любя!
Алчем и жаждем,
Жаждем тебя!

Пусть никогда не узнаем,
Как не знаем теперь,
Бог ли нами терзаем,
Человек или зверь, –

Но свершится над нами
Божья тайна – любовь!
Рвите же тело зубами,
Пейте горячую кровь!

Вдруг хоровод остановился как вкопанный, и повалились все лицами на землю. Одна только жрица стала в средоточьи кругов, подняла руки к небу и воскликнула громким голосом:

– Приди! Приди! Приди!

И такая радость была в лице ее, как будто она уже видела Того, Кого звала.

«Кто это? Кто это?» – узнавал – не узнавал ее Таму, любимую – любящий. «Бесноватая! Девка под богом, что телка под оводом... Ну, что ж, и такую любишь?» – спросил он себя с надеждой и ответил с отчаянием: «Люблю».

Медленно зашевелился, зашуршал в ветвях, как медведь, лезущий к дуплу за медом. Услышав над собой испуганный шепот Гингра, только усмехнулся, и вцепившуюся в него кошачью лапку Тутину оттолкнул с грубостью. Нашупал под ногами сук покрепче и, держась руками за верхний – тот, на котором сидел, – привстал, сделал шаг, другой; раздвинул ветви и высунул голову. Лез на мед медведь и не боялся пчел.

Увидела? Нет, смотрит выше, в небо. Но опустит глаза – увидит. Опустила – не увидела, как ночная птица днем.

Сделал шаг еще, еще раздвинул ветви и высунулся весь на яркий свет факелов: «Да ну же, ну, гляди, сова слепая!»

Увидела. Гневом озарилось лицо ее, так же как тогда, под обрывом, у моря, когда просвистело над ним копьё Бритумартис Охотницы.

Подняла тирс. С сердцем, замиравшим от надежды, он ждал: бросит в него тирс, пальцем укажет, закричит. «Зверь!» и спустит фиад, как ловчиха спускает на зверя свору бешеных псиц: «Трави его, терзай!»

Но глаза их встретились, и он понял, что опять, как тогда, она сжалится, – простит. О, лучше бы выжгла глаза ему раскаленной головней, чем этим прощающим взором.

Опустила руку с тирсом на лежавшую у ног ее девочку. «А, сучка! – узнал Таму Эйю, когда подняла она голову. – Ну, помоги же хоть ты, – крикни же, крикни, как следует!»

Крикнуть хотела Эйя, но Дио зажала ей рот рукою.

Мережковский Д. Рождение Богов (Тутанкамон на Крите) filosoff.org
Кроме них двоих, никто еще не видел его: как пали все давеча лицами на землю, так и лежали, не двигаясь; знали, что здесь бог: увидеть Его – умереть.

Дио повернулась к Таму спиной и, указывая в противоположную сторону, крикнула:

– Ио, ио, Адун! За мной, сестры!

Все вскочили, ответили криком на крик:

– Ио, Адун!

и бросились бежать, куда указывал тирс, – по нижней просеке.

У

Не успел Таму опомниться, как поляна опустела, огни потухли, и опять сомкнулись над ними черная ночь; только белые зарницы полыхали – перемигивались, пересмеивались огненные диаволы.

«А килик-то, подлец, соврал: большого удовольствия не получили, – усмехнулся он. – Врет и Гингр, старый козел, что бог на горе: никого здесь нет, ни бога, ни диавола!»

– Кто-то здесь! Кто-то здесь! Здесь, здесь, здесь! – вдруг зазвенело, затикало над самым ухом его, как червячки в сухом дереве старых домов, ночью, во время бессонницы, тикают.

«Это кровь шумит в ушах», – подумал он и позвал:

– Эй, Гингр, Тутанкамон! Вы здесь?

Никто не ответил ему, и опять зазвенело, затикало:

– Здесь, здесь, здесь! Кто-то здесь! Кто-то здесь!

– Кто здесь? – крикнул он и, как будто ожидая ответа, прислушался.

Но звук умолк, наступила тишина мертвая, и вдруг такая тоска напала на него, что подумал: «Сделать бы петлю из пояса, да вот на этом суку, здесь, здесь, здесь – и повеситься!..»

Ухватился обеими руками за сук, вскарабкался, соскочил на скалу, скатился по скользкой хвое с холма, едва не увяз в болоте; долго блуждал, прыгая с кочки на кочку, продираясь в темноте сквозь чащу и треща сухими ветками, как бегущий зверь; выбрался, наконец, на опушку леса, увидел огонек вдали, там, где ожидали нубийцы-носильщики, и пошел на него.

Вдруг выскочило из лесу что-то огромное, косматое, как медведь, бегущий на задних лапах, сверху белое, снизу черное. Так показалось ему сначала, а потом, взглядевшись, при блеске зарниц, он увидел, что это Гингр с сидящим на спине его Тутю. Белою была льняная одежда Туты, а черным – козий мех Гингра.

Он бежал, скакал во весь опор, а Тутя вцепился в него руками и ногами, бил его, прищипывал, как бешеный всадник – коня.

– Скорей! Скорей! Скорей! Гонятся, слышишь? Матерь Изиды благая, отец Амон-Атон, помилуй нас!

Маленький, щуплый египтянин казался великану Гингру немногим тяжелее котенка, но, полузадушенный, он храпел под ним, как загнанный конь. А будущий царь Египта сидел на нем ни жив, ни мертв. Так болел у Туты живот от страха, как будто никогда не страдал он запором. Целое полчище диаволов, казалось ему, гонится за ними по пятам: вот-вот поймут – растерзают – съедят.

– Стой, погоди, не бойся! Это я, Таммузадад! – крикнул им вдогонку Таму, но Гингр, услышав за собой крик, пустился бежать еще скорее.

Мережковский Д. Рождение Богов (Тутанкамон на Крите) filosoff.org
Только у костра нубийцев догнал их Таму.

– А, купец! – пролепетал Тута, выпучив на него глаза от удивления. – А я было думал, что тебя...

– Думал, что съели меня? – кончил Таму и, взглянув на него, рассмеялся так, как будто получил-таки большое удовольствие.

В диком лесном логое, где глубокие мхи между корнями дремучих дубов постланы были, как мягкие ложа, фиады остановили свой бег.

– Здесь переночуем, сестры! Стройте кущи, зажигайте костры! – сказала Дио и, когда они разбежались по лесу за хворостом и ветками для кущ, она, потихоньку от всех, зашла в такую дичь и глушь, где никто не мог ее найти, упала лицом в траву и зарылась в нее с головой, спряталась, как прячется в нору свою издыхающий зверь.

– Таму, брат мой, что ты сделал! – прошептала опять, как тогда, под обрывом, у моря.

Вспомнила, как он усмехнулся давеча, стоя на дереве, когда глаза их встретились. «Тот, Кого ты зовешь, никогда не придет; а если б и пришел, горе живущим в мире, потому что это не Бог, а диавол!» – вот что было в этой усмешке.

«Сам ты диавол, богоубийца!» – хотела она ответить и не могла. «Брата своего, Иола, забыла?» – пронеслось над ней тихим стоном. Вспомнила, как в Диктейской пещере, там, где крест и жертвенник жертв человеческих, мать Акакалла спросила ее: «Простить не можешь?» За нее ответил Таму – Таму за Иола, брат за брата восстал.

И еще вспомнила: отцы и матери, когда несут детей своих на жертвенник, завязывают их в мешки, как ягнят и козлят, чтобы не видеть их лиц – не сжалиться. Бился в таком мешке и брат Иола; а после заклятия жертвы обезумевшая мать запела песенку:

Уж не мой ли ребенок
Плачет в смертной тоске?
Нет, это только ягненок
Блеет в темном мешке.
И как будто в ответ прозвучала у Дио в ушах другая песенка:

Да свершится над нами
Божья тайна – любовь!
Рвите же тело зубами,
Пейте горячую кровь!
Не липнут ли руки от крови? Не вкус ли крови на губах?

Вскочила, хотела бежать, но подкосились ноги, и упала с тихим стоном. Все закружилось в глазах ее, поплыл кровавый туман, и вспыхнул в нем ослепительно-белый, как солнце, огненный крест.

Минотавр

I

«Жертвы человеческой требует бог», – думали критяне, прислушиваясь к раздававшимся все чаще в последние дни гулам подземных громов.

Еще земля не тряслась, но вот-вот затрясется, заплещет, как бешеный бык. «Жертвы, жертвы!» – уже ревел под землей ревом голодным бог Бык, Минотавр.

Игры быков шли на кносском ристалище. Много было раненых, но ни одного убитого. Люди знали: вмешиваться в поединок бога с человеком, ускорять заклятие жертвы, запрещено святым уставом игр; жертву избрать и заклать должен сам бог. Но жадная похоть убийства уже томила сердца.

– Вон, вон, смотри, тот серый вздернет ее сейчас на рога! Ну же, ну. Мышоночек, серенький, бей! – говорила соседка Туты в царском шатре, супруга одного из первых критских сановников, Эранна, дочь фраизоны. Тута подсел к ней, уйдя потихоньку с почетного места в сонме царских скопцов.

– О-о-о! Мимо, мимо опять! – застонала Эранна, как от боли, от неутоленной похоти. – Увалень глупый, медведь косолапый! Чутьочку бы левый рог повыше, – и распорол бы ей живот, как ножом!

Сквозь опаловую розовость румян, белил, притираний искуснейших – «вечную молодость» – тоже одно из чудес хитрецов-дэдалов, проступали по всему лицу ее, а особенно около густонакрашенных, точно кровью намазанных губ, тонкие морщинки – «трещинки в стене побеленной», как смеялись над ней завистницы. Вельможно-породиста, жеманна, притворна, с виду как лед, холодна, целомудренна, а на самом деле тайная распутница, Эранна была, на Тутин вкус, прелестна.

Подсев к ней, он зашептал ей на ухо любезности и жадно заглядывал в низкий, до пояса, вырез платья из драгоценной ткани, двуличневой, зелено-лазурной, как морская вода, с золотым и серебряным шитьем – тонкими стеблями водорослей, завитками раковин и летучими рыбами. Вырез, как у всех критских женщин, обнажал сосцы. К невинной нагоде египетской Тута привык, но здесь было иное.

О, эти два яблочка – «сладкое яблочко, съесть тебя хочется!» – два сосца неувядаемых у сорокалетней женщины, как у шестнадцатилетней девочки, – два острых кончика, смугло-розовых, тоже подкрашенных, и на каждом рдяная точка румян, капелька крови на острие ножа!

«Чтобы груди от родов не портились, вытравляют плод», – вспомнил Тута еще одну хитрость хитрецов-дэдалов.

Эранна, видя, что не скоро будет то, о чем она томилась, отвернулась от ристалища со скукою, заметила Тутин жадный взгляд, услышала страстный шепот и улыбнулась ему:

- Что ты все шепчешь?
- Песенку.
- Какую?
- А вот, слушай.

Говорили по-египетски: она хорошо знала этот язык, модный при здешнем дворе.

Тута подсел ближе и зашептал ей на ухо:

Быть бы мне черной рабыней, ее раздевающей, –
Всю наготу сестры моей увидел бы я!
Быть бы рабом, одежды ей моющим, –
Надышался бы я благовоньями тела ее!
Быть бы мне перстнем на пальце сестры моей, –
Вечно б носила она, берегла бы меня!
Быть бы мне миртовой вязью на груди ее, –
Зацеловал бы я сосцы моей возлюбленной!
– Хороша песенка? – спросил он.

- Недурна.
- А есть другая, еще лучше.
- Ну-ка, скажи.

Он опять зашептал:

Мой царь, мой брат, мой бог!
Как сладко мне в воду с тобою сходить,
К распускающимся лотосам!
Как сладко с тобою купаться вдвоем,
Наготу мою тебе показывать
Сквозь льняную ткань, прозрачную,
Благовоньями облитую!
И, нагнувшись к вырезу, вдохнул запах мускуса, мирры, туберозы мучительной,
Страница 51

Мережковский Д. Рождение Богов (Тутанкамон на Крите) filosoff.org
и чего-то еще сладкого, страшного, как бы женского тела-тлена. «Ужо провалитесь все в преисподнюю!» – почудилось ему в этом смраде благоухающем.

– Какое это благовонье у сестры моей? – любопытствовал.

– А разве у вас нет такого в Египте? Весь Мемфис, говорят, как склянка с благовоньями.

– Такого нет, такого нет нигде! – прошептал он – Оно, как ты.. пьяное.

Чуть не сказал: «распутное». А если б и сказал, может быть, не обидел бы.

– Благодарю за любезность! – рассмеялась Эранна. – А господин мой пьяных любит? Знаю, знаю, зачем ездил на Гору, за кем подглядывал! – пригрозила ему пальчиком.

«Уж не знает ли, как на плечах Гингра скакал?» – смутился Тута и переменял разговор.

– Есть у нас в Египте, на стенах святилищ, изображения: богиня любви, Изиды-Гатор кормит грудью царя, прекрасного отрока; как младенец ко груди матери, он припадает к сосцам божественным...

– Ну, и что же? – усмехнулась она лукаво...

– Грудь у сестры моей, как у богини любви...

– Ну, и что же? – повторила и усмехнулась еще лукавее.

Молча скопил он глаза на вырез, как кот на сливки.

– Чудаки вы, египтяне! – засмеялась Эранна.

– Почему чудаки?

– Да уж очень запасливы: гробы себе, дома вечные строите загодя и чего туда ни кладете, чтоб на том свете не соскучиться: книжечки с любовными сказками и такие картинки, что и сказать нельзя.. Ведь правда?

– Правда.

– И ты положишь?

– Как все, так и я.

– А хочешь, я дам тебе моего благовонья? Положишь в гроб и его – вспомнишь обо мне на том свете.. Знаешь, как оно называется?

– Как?

Она прошептала ему на ухо такую непристойность, что он покраснел бы, если бы поклонник богини Гатор мог краснеть от чего-нибудь.

Обернулась к черной рабыне, тринадцатилетней девочке, державшей над ней зонтик-опахало с тканым узором лучистых кругов, суженных внутрь, тускло-коричневых по желтому полю, как бы огромный увядающий подсолнечник. Зонтик опустился и скрыл их обоих. Эранна заглянула Туте прямо в глаза и вдруг, как будто застыдившись, потупилась на вырез платья.

Тута понял – быстро наклонился и припал ко груди ее, как отрок-царь – к сосцам богини Гатор.

– Что ты, что ты? Увидят! – смеялась Эранна, но не противилась.

Черная рабыня, видя все, улыбалась им с невинным бесстыдством зверихи, и они не стыдились ее, как люди не стыдятся зверя.

Тута почувствовал на языке своем приторный вкус румян: рдяную точку – капельку крови с остря ножом – слизнул нечаянно.

Мережковский Д. Рождение Богов (Тутанкамон на Крите) filosoff.org
Краток был миг блаженства: едва успел он оторваться от «сладкого яблочка», как зонтик опять поднялся.

– А просьбу мою не забыл? – спросила Эранна спокойно, деловито.

Просьба была о кулачном бойце в Кносском ристалище, любовнике ее, желавшем поступить на военную службу в Египте, в царские телохранители.

– Просьба госпожи моей – повеление: все уже исполнено, – ответил Тутта.

По знаку Эранны зонтик опять опустился, и младенец припал ко груди матери.

Это понравилось Тутте; честно, без обмана: заплатил – получил.

– Смотри, смотри! – заговорила она. – Бедненький Пеночка, Пазифайн возлюбленный... Да что с ним сегодня? Прыгает, бесится как! У-у, страшный какой, божественный! Слава Адуноу, вот когда начинается!

– А плясунья кто? – спросил Тутта, не разглядев.

– Разве не видишь? Сама невеста бога Быка, Пазифайя – Эойя!

II

Эойя приехала в город накануне игр, чтобы повидать купца из Библоса, имевшего к ней предсмертное письмо Итобала.

Когда прочла, что отец простил и благословил ее, умирая, – точно гора свалилась с плеч ее. Обрадовалась так, что захотелось плясать, подумала: «Хорошо, что игры сегодня: так спляшу, как еще никогда!»

Об играх узнала в тот же день, за несколько часов. Дио, бывшую за городом, в своем уединенном доме, близ Гавани, известить успела бы, но не хотела: знала, что ей слишком тяжело сейчас выходить в толпу, плясать. С какой тяжестью в душе вернулась она с Горы, Эойя догадывалась: помнила, как усмехался, стоя на дереве, над пляскою фиад, тот бесстыдник, безбожник, диавол Таму.

В городе узнала она, что дня за три, в день игр, отмененных по болезни царя, схвачен был один из ристалищных бычников, пытавшийся опохмелиться пьяным пойлом Пеночку. Тут же, на месте казнили его, по уставу игр: удавили на первой попавшейся веревке, как собаку, спаивать бога Быка считалось неслыханным злодейством. Все же имя Кинира, сына Уамарова, сообщника своего, он успел назвать перед смертью. Но никто ему не поверил: слишком почтенный старик был Кинир, чтобы участвовать в таком злодействе.

«Это он, Таму, диавол, ищет души моей», – подумала Эойя, услышав имя Кинира. «А ведь так легко, пожалуй, не отступятся: раз не удалось – в другой раз может удасться. Надо бы осмотреть Пеночку», – промелькнула мысль. Но странно-легко забыла об этом. «Легкий день сегодня: все хорошо будет. Так спляшу, как еще никогда!»

Выбежала на ристалище. Бык уже стоял на нем, один: всех остальных угнали, все плясуны и плясуньи ушли.

Увидев ее, пошел на нее медленно, уставив рога, взрывая пыль копытом, с мычанием глухо-прерывистым.

Она ждала его, не двигаясь; только искала глазами глаз его: знала, что для победы над зверем важнее всего человеческий взор.

Взор его уловила, но чуждый, мутный, как бы подернутый мертвой пленкой. Не он, не он, а кто-то другой глянул на нее из глаз его!

Бесится, бывало, всегда как будто притворно, только для зрителей, а на самом деле пляшет с ней ладно, мерно, под мерную музыку флейт. А теперь идет неуклюже, нелепо, шатаясь, как пьяный.

Подойдя почти вплотную, рванулся, ринулся на нее бешено. Ласточкой взлетела – перелетела она через рога его на спину. Легла, положила голову между рогов. Он поднял морду и дохнул на нее пьяным пойлом. Не испугалась. «Пусть

Мережковский Д. Рождение Богов (Тутанкамон на Крите) filosoff.org
пьян – укрошу и пьяного. Все хорошо будет. Так спляшу, как еще никогда!» – повторила, как заклинание.

Бык поднялся на дыбы, как будто хотел опрокинуться навзничь, чтобы раздавить ее всей своей тяжестью. Но уже соскочила с него и, прежде чем он успел повернуться к ней, – стояла на другом конце ристалища.

Вдруг, взглянув на толпу, увидела рядом с царским шатром, на почетной скамье, спереди, Кинира и Таму. «А, сучка, попалась! Ну, теперь уж конец – не отвертись!» – прочла в глазах обоих. Но не испугалась:

«Все хорошо будет – так спляшу, как еще...»

Острый, как острие ножа, кончик рога царапнул ее по плечу. Бык набежал на нее сзади, когда смотрела на Кинира и Таму. Успела бы отскочить, если бы движение зверя было осмысленно; но опять рванулся, шатнулся нелепо, как пьяный, и задел ее нечаянно.

Кончик рога только скользнул по плечу и содрал с него кожу. Но уже текла тонкой струйкой по телу кровь.

Кровь увидев, толпа заревела неистово:

– Режь! Режь! Режь!

Жертву резать – заклать молила бога Быка.

Царь идомин высунул бычью морду, личину, из-за шатровых завес, замахал красным, как кровь, лоскутом, и флейты запели песнь заклятий жертвенных.

– Режь! – вопила и Эранна вместе с толпой.

«Если погибнет Эойя, то и Дио – с нею», – подумал Тута и привстал.

– Куда ты? – спросила Эранна.

– К царю.

– Зачем?

– Просить, чтоб пощадил Эойю.

– Не надо! Сиди, не пуцу! – сказала она, схватила его за руку и опять усадила рядом с собой, почти грубо, насильственно. – Разве тебе здесь не хорошо?

Зонтик опустился и, слабея, пьянея от благоуханья женского тела-тлена, Тута припал ко груди богини Гатор. «Подло, подло! – думал он. – А ведь вот чем подлее, тем слаще...»

Эойя плясала, как еще никогда. Кровь струилась с плеча ее, но не чувствуя боли, взлетала – перелетала через быка легкой ласточкой.

Падали знойные сумерки. Мутно-белое небо нависло, как потолок. Душно было, как в бане, и в духоте задыхались два зверя – бык и толпа – от одной кровавой похоти.

Вспомнила Эойя, как однажды, в пустынном предместьи Библоса, в сумерки, пьяный бродяга напал на нее, хотел осрамить. Спаслась тогда, но теперь уже не спасется. Два пьяных зверя – толпа и бык – шли на нее с одною похотью: осрамить – убить.

И еще вспомнила, как маленькие дети, жертвы Молоха, бьются в мешках; билась теперь и она в таком же мешке.

Вдруг сделалось жалко себя, и, вместе с жалостью, уколол сердце страх.

Бык шел на нее опять – уж который раз – вечно, казалось, шел и будет идти. Знала, что если она не отскочит сейчас, вздернет ее на рога. Но не могла пошевелиться, руки, ноги отнялись, как в страшном сне: вся отяжелела смертною тяжестью.

– Мать, помоги! – простонала, подняв глаза к небу.

Перед закатом по белому небу брызнула алая кровь, как будто заколалась жертва и там. Эоя закрыла глаза.

Глухо загудели бубны, флейты завизжали пронзительно, и хор запел:

Радуйся, чистая Дева,
Брачное ложе готовь!
Ярость небесного гнева
Да отвращает любовь!
Лейся из белого чрева
Алая, алая кровь!
Чресла Телицы божественной
Бык покроет, любя.
Песней торжественной
Славим тебя,
Богом избранная,
Богу закланная,
Дева-Мать несказанная!
К Туте на плечо склонилась Эранна, бледная, как мертвая – цветок туберозы,
женским телом-тленом благоухающий.

– Смотри, смотри, смотри! Он ее сейчас... – шептала задыхающимся шепотом.

Зонтик поднялся, и Тута увидел, что между рогами быка, так же как там, на Горе, между руками фиад, какое-то кровавое лохмотье треплется. И в бычьем реве услышал он гул подземных громов: «Ужу провалитесь все в преисподнюю!»

III

– В Египет! В Египет! – повторяла Дио, глядя с плоской кровли дома на уходивший в море корабль.

Красногрудый, чернобокий, круто-изогнутый, как спина дельфина, с двумя на носу лазурными очами, чтобы высматривать в море свой путь, выплывал он из-за длинного мола Кносской гавани. Парус от безветрия повис, но двадцать пар весел сразу подымались, сразу опускались, влажно блестя, как плавники морского чудовища, и корабль шел на них быстро, влача за собой две голубоватые складки по белизне моря, почти такой же мглисто-опаловой, как небо.

Куда он идет, она не знала; но все корабли, казалось ей, идут в Египет. И, протянув к нему руки, повторяла:

– В Египет! В Египет!

Вспомнила древний вавилонский псалом: «Сердце мое трепещет во мне, и смертные ужасы напали на меня. Кто дал бы мне крылья, как у голубя? Улетела бы я и успокоилась, далеко удалилась бы и оставалась бы в пустыне!»

Вспомнила также царя Утукса – Одиссея, вечного странника:

Сильно меня устремило в Египет желание сердца.
В длинновесельном плывя корабле, из очей потерял я
Крита широко-равнинного снежные горы и прибыл
Дней через пять к светлоструйному устью потока Египта.
Колыбельные песни Египта напевала ей Зенра кормилица; о чудесах Египта рассказывал отец Аридоэль, – часто ходили туда корабли его, нагруженные критским лесом и пурпуром. С детства казалась ей эта чужая земля родною, как будто она жила в ней когда-то в незапамятно-давние дни и все хотела в нее вернуться, тосковала о ней, как о родине. Глядя на осенние станицы журавлей, улетающие на юг, протягивала к ним руки, так же как сейчас – к уходящему кораблю:

– В Египет! В Египет!

Знала и теперь, когда смертные ужасы напали на нее, что бежать от них надо в Египет, и что спасет ее только величайший из сынов человеческих, царь Египта, Ахенатон.

Маленькая, сморщенная, как сморчок, старушка, под огромным, черным париком, точно гриб под шапкой, взошла на кровлю по наружной лестнице дома.

- А, Зенра, наконец-то! – воскликнула Дио. – Где же ты пропадала?
 - Все по твоим же делам бегала; с ног сбилась, Туту искавши по городу.
- Старушка подала ей письмо, с Тутиной печатью, Атоновым солнечным кругом.
- А где Эойя? – спросила Дио.
 - В городе осталась.
 - Зачем?
 - Хочет повидать еще раз купца из Библоса, расспросить об отце.
 - Что же он, умер?
 - Умер.
 - Не простил?
 - Нет, слава Богу, простил. Обрадовалась, бедненькая, так что и сказать нельзя.
 - Зачем же ты ее одну оставила в городе?
 - Не пропадет, чай не маленькая! Завтра поутру вернется.
 - А ты сама вернулась когда?
 - На заре сегодня.
 - Где же весь день была?
 - В Гавани. Смотрела корабль, на котором поедem в Египет. Ах, хорош корабль! Мачты кедровые, паруса тканые, рубка золоченая; сто гребцов – сто молодцов, все как на подбор. Дней через десять выедем и с ветром попутным в пять дней будем в Египте!

Вдруг захлопала в ладоши, закачала головой, так что тугие косички, некогда черные, но уже давно порывшиеся, рассыпались по лицу, парик съехал на сторону, и забелели под ним седые волосы; тихо-тихо, точно комар зажужжал, запела песенку:

Крокодил, крокодил,
Зарывайся в темный ил!
С богом Солнца возношусь,
Крокодила не боюсь!
Папарука-папарака,
Папарура-папара!

Этими колдовскими словами кончалась песенка, знакомая Дио с младенчества: под нее игривал с ней братец Иол в деревянного, разевавшего пасть крокодила, египетскую игрушку, подаренную отцом. А после трех страшных смертей – Аридоэля, Иола и Эфры – старушка Зенра начала выпивать с горя и навеселе певала всегда эту крокодилью песенку.

- Там и напилась, на корабле? – спросила Дио.
- Зачем напиваться? Пьяница я, что ли? Только пригубила. Угостили земляки-корабельщики настоящим пивцом Атоновым. День-то, сегодня, помнишь, какой? Ну, вот и помянула покойничков!

Дио помнила, что сегодня – годовщина смерти отца: с Аридоэлем старушка помянула и двух других покойников – Иола и Эфру.

- Ну, ладно, няня, ступай, отдохни, – сказала она, без упрёка, ласково.

А когда уже Зенра спускалась по лестнице, окликнула ее:

– Няня, а, няня, игры когда?

Зенра не расслышала: туга была на ухо. Дио подошла к лестнице, наклонилась и крикнула:

– Игры, игры когда?

– Игры? – ответила старушка. – Нет, об играх что-то не слышно. Даст Бог, раньше уедем. Ну их к Сэту-диаволу! Не игры, а душегубство окаянное!

Падали знойные сумерки. Мутно-белое небо нависло, как потолок. Вдруг, перед закатом, брызнула по небу кровь, как будто там, на небе, заколалась жертва.

Тут же на кровле стояли два плясовых, из глянцевитой, белой кожи, башмачка Эойиных; подошвы у них натирались особым смолистым порошком, чтобы не скользили по гладкой шерсти бычьих спин. Перед отъездом в город Эойя вымыла их, выбелила и поставила сушиться на солнце.

Дио взглянула на них, подумала: «Да, хорошо бы раньше уехать, до игр...» И вдруг что-то прошло по сердцу ее, темное и быстрое, как тень от облака.

Распечатала письмо Туты, прочла, и сердце у нее забилося от радости: «Через десять дней – в Египет!»

Спустилась по деревянной, пристроенной снаружи дома лестнице. Дом из грубо отесанных камней, глины и бревен, узкий и высокий, в три жилья, с редкими окнами, напоминал крепостную башню.

Критские дома строились без очагов; плохо заменяли их угарные жаровни с углями. Купец Аридоэль, часто бывавший по торговым делам в Микенах, Тиринее, Аргосе и других городах материковой земли, где люди Севера строили теплые дома с очагами, полюбил их уют и построил себе на Крите такой же дом.

Дио вошла в нижнюю, большую, под отдельную кровлю, палату очага, с четырьмя деревянными столбами и круглым, в закоптелом потолке, отверстием для дыма. Узкие, как щели, окна в дубовых, с мелким переплетом, рамах затянуты были прозрачной, из бычьего пузыря, пленкой, раскрашенной в яркие краски, так что свет дневной казался радужным.

На одной из стен была роспись: в священном саду голый отрок, похожий на девушку, с голубовато-серебристым, точно лунным телом, низко наклоняясь на бегу, рвал белые цветы шафрана, выющиеся, как языки пламени.

В углу, на полках, было маленькое книгохранилище: свитки пальмовых листьев с критскими письменами, глиняные дощечки с вавилонской клинописью, египетские папирусы с иероглифами.

Одна дверь вела в сад, другая – в купальню с водопроводом; и еще две – в опочивальни, Эойину и Диину.

В углублении внутренней стены находилась крохотная часовенка с висячим бронзовым свечником – огненным венком неугасимых лампад – и крашеным глиняным плоским стенным изваянием, изображавшим видение Матери: на острой, как еловая шишка, горе стояла маленькая девочка в сборчатой юбке-колоколе, с обнаженными сосцами и жезлом в протянутой руке – Великая Мать; у ног ее, по обеим сторонам горы, две исполинские, на дыбы поднявшиеся львицы; а перед нею – человек, закрывший от нее руками лицо, как от солнца.

Дио так же закрыла лицо руками, опустилась на колени и зашептала молитву.

Как бывало в детстве, молилась о хорошей погоде, о новой игрушке и знала, наверное, что исполнится молитва, так и теперь. Человека ли терзает или в человеке терзается Бог, уже не думала: все это вдруг сделалось ненужным и нестрашным, как жалкая усмешка Таму, диавола.

Повторяла только два слова:

– Мать, помоги!

Мережковский Д. Рождение Богов (Тутанкамон на Крите) filosoff.org
А потом уже без слов – только звук – зов ребенка к матери:

– Ма-ма-ма!

И молитва исполнилась: чьи-то сильные руки подняли ее, как ребенка поднимают руки матери. В первый раз после Горы заплакала.

Медное изваяньице – Озирисова мумия, с лицом Ахенатона царя – стояло тут же, в часовенке. Дио взяла его в руки, поцеловала и вгляделась в лицо его с тем же чувством, как всегда: узнавала брата. «Кто это, кто это? А вот скоро узнаю кто!» – подумала радостно.

Выйдя из дому в сад, прошла по заглухшей тропе между двумя черными стенами кипарисов-великанов в самый дальний конец сада, к озерцу малому, круглому, с таким же круглым островком. Там, в черной тени кипарисов, бледнела гробница, алебастровый ковчег. Плакала плакучая ива над ней; слезы родника из мшистого камня капали; благоухал цвет смерти – нарцисс. В гробнице покоились трое – Аридозель, Эфра, Иол.

Дио вошла на островок по мостику, вздула на медном треножнике угли и положила на них благовоний. Дым поднялся прямо в безветренном воздухе, и вспыхнувшее пламя осветило на стенках гробницы две росписи.

На одной Осьминог божественный, в хляби вод первичных, разверзал чрево свое – чрево рождающей Матери, и кишела, множилась рождаемая тварь в довременном иле. Ил превращался в водоросль; водоросль – в животное; животное водяное – в земное: рыба – в птицу, раковина – в бабочку, еж морской – в ежа полевого, но с еще не проросшими лапками, конь морской – в коня настоящего, но на задних ногах, еще не законченных, из ила волочущихся. Так, звено за звеном – тварь за тварью – цепь развития развивалась, бесконечная.

А на другой росписи – последнее звено – Человек: мертвец воскресающий выходил из гроба – чрева земли, как дитя – из чрева матери.

Так соединялись в общих росписях две тайны в одну: начало мира – с концом, творение – с воскресением.

– «Воскрес Адун из мертвых, радуйтесь!» – шептала Дио с тихим восторгом.

«Таму, брат мой, какое чудо больше – сотворить или воскресить?» – усмехнулась она как бы в ответ на усмешку Таму, дьявола.

Вернулась домой, легла и заснула так сладко, как уже давно не спала.

IV

Проснулась не от звука, а оттого, что знала, что сейчас будет звук, и действительно, скрипнула дверь.

Вошла Зенра, держа лампаду в одной руке, а другой – заслоняя пламя от спящей. Остановилась в дверях, потом начала подходить медленно, как будто крадучись. Ладонь ее, заслонявшая пламя, дрожала так, что прыгали тени по стенам и потолку. На голове ее вскочились седые волосы, глаза горели, губы шевелились без звука.

«Что с ней? Пьяна? С ума сошла?» – подумала Дио и вдруг вспомнила, что такое же лицо было у Зенры в тот день, когда удавилась Эфра.

– Что ты, няня?.. – вскрикнула, приподымаясь на постели.

– Ничего, доченька, ничего, родная, не бойся, Бог поможет! Вставай, одевайся, пойдём!..

– Куда? Зачем?

Дио вскочила на колени и выставила руки вперед с таким отвращением и ужасом, как будто шла на нее сама смерть.

Старушка опять начала подходить к ней молча, медленно, крадучись; опять губы ее зашевелились без звука.

Мережковский Д. Рождение Богов (Тутанкамон на Крите) filosoff.org
– К Эйе, к Эйе пойдём! – простонала, наконец, глухо.

Но, странно, внезапности не было: как давеча, проснувшись, знала, что будет звук, так и теперь знала все, что будет; как будто не узнавала новое, а только вспоминала давнее: все это уж было когда-то; так было – так есть.

Молча подошла Зенра к постели и упала на колени. Дио, схватив ее обеими руками за плечи, вцепилась в них так, что разодрала ногтями льняную ткань рубахи.

– Да говори же, говори!

Зенра повалилась на пол, забилась головой о ножку кровати и завывала протяжным воем плакальщиц:

– Бык! Бык! Бык!

– Убил? – спросила Дио, но уже знала все – помнила.

– Убил! Убил! Убил! – выла Зенра.

– Где она?

– Здесь у ворот!

Дио вскочила с постели, накинула охотничью шкуру лани на плечи, золотисто-желтый, с серебряными пчелками, покров на голову и выбежала из дому в сад.

Тю же тропинкою, как давеча, между двумя черными стенами кипарисов-великанов пробежала мимо озера с островком, где бледнела гробница трех.

Споткнувшись о корень дерева, едва не упала. В глазах потемнело, земля закачалась, как палуба. Но усилием воли одолела находившую тьму беспомощности.

Услышала плач похоронных флейт. И опять – все это уж было когда-то; так было – так есть.

Добежала до ворот, открыла калитку и вышла на большую дорогу из Гавани в город. Здесь остановилось похоронное шествие. Жрицы бога Быка держали на плечах гробовое ложе-носилки. Пылали погребальные факелы; плыл благовонный дым с курильниц. Плакали флейты, плакал хор:

Радуйся, чистая Дева,

Брачное ложе готовь!

Жрица Адуновых игр, мать Анаита, благообразная старика с умным и добрым лицом, подошла к Дио и проговорила молитвенно:

– Радуйся, Дио, жрица Великой Матери! Жертву, тобой уготованную, принял бог, да очистится чистой кровью земля, да спасется великое Царство Морей. Слава Отцу, Сыну и Матери!

И обняв ее и заплакав, прибавила тихо, просто:

– Ох, доченька, ох, светик мой, душу мою отдала бы я, чтобы утолить твою муку! Помни одно: велика скорбь твоя – велика и награда, великая жрица Матери, Акакаллы наследница... Хочешь проститься?

Дио молча наклонила голову.

По знаку Анаиты гробовое ложе поставили на землю и сняли с него покрывало лилового пурпура с золотым шитьем – двуострыми секирами, Лабрами, между бычьих рогов.

Мертвая лежала в белых одеждах, в белом венке из шафранных цветов, том самом уборе, в который убирала некогда Дио невесту Быка, Пазифайю – Всесветящую. Туго спеленутая пеленами смертных, свитая в мумийный свиток, чтобы придать искалеченному телу человеческий облик, напоминала она мертвую куклу.

Дио, став на колени, подняла с лица ее легкую дымку. На левом виске чернело пятнышко, лоб обвивала кровавая ссадина – красный венчик под белым венком. Но лицо было почти нетронуто, светлое светом нездешним, нездешней чистотою чистое, детское, с детскими веснушками около глаз.

Дио смотрела на нее с раздирающею мукою жалости, но плакать не могла: слезы высыхали на сердце, как вода на раскаленном камне. С тихим стоном прильнула губами к холодным губам. О, если бы так умереть!

Кто-то взял ее под руки, хотел поднять, но она сама поднялась. Увидела, что смотрят на нее, и застыдилась; по мертвому, мертвее, чем у мертвой, лицу ее пробежала тень виноватой улыбки. Быстро опустила покров на лицо и, когда шествие тронулось дальше, пошла за ним твердым шагом.

V

Солнце уже всходило, когда поднялись к стене, сложенной из таких огромных каменных глыб, что они казались нагроможденными нечеловеческой силой, – святой ограде Матери. В стене были низкие ворота; на челе их – треугольный глыбе, целой скале – стояли на задних лапах две львицы, такие же, как в Диной часовенке, и между ними каменный столп, древнейшее знаменье Матери – твердыня твердынь, держава держав, Мать Гора, соединяющая небо с землею.

Пройдя через ворота, поднялись по вырубленным в скале ступеням на высокий холм, далеко вдававшийся в море уступ Кэратийских гор.

Утро было ясное. Вчерашняя муть рассеялась. На западе, над рядами туманно-голубых вершин, реяла снежная Ида, розово-белая, девственно-чистая, как сама непорочная Дева-Мать. На севере, ветрено-мглистое, темно-фиолетовым огнем горящее море дымилось белыми дымами – пенами волн. А внизу, на великой Кносской равнине, в черно-зеленом кольце кипарисовых рощ белел, как только что выпавший снег или разостланные по полю холсты белильщиков, белокаменный город-дворец, жилище бога Быка, Лабиринт.

На плоском темени холма сложен был из грубо отесанных камней широкий и низкий жертвенник жертв человеческих. Над ним возвышался костер. На него положили тело Эойи.

Дио вздрогнула и отшатнулась, когда мать Анаита подала ей факел. Но потом взяла его и первая зажгла костер.

Флейты заплакали, хор запел:

Радуйся, чистая Дева,
Брачное ложе готовь!
Ярость небесного гнева
Да отвращает любовь!
К ложу Невесты божественной
Бог нисходит, любя.
Песней торжественной
Славим тебя,
Богом избрбнная,
Богом закльбнная
Дева-Мать несказанная!
Костер запылал, и в бушующем пламени мертвая кукла вдруг зашевелилась, как живая. Дио закрыла глаза, чтобы не видеть, а когда снова открыла их, все исчезло в пламени.

«Жертву, тобой уготованную, принял бог», – вспомнила она слова Анаиты и подумала: «Да, кровь ее на мне, ее убила я!»

И так же, как тогда на Горе, все закружилось в глазах ее, поплыл кровавый туман, и вспыхнул в нем ослепительно-белый, как солнце, огненный Крест.

Крест

I

Вернувшись домой, Дио легла на ложе в палате очага, повернулась лицом к стене, укрылась с головой и пролежала так весь день. Зенра иногда входила в

Мережковский Д. Рождение Богов (Тутанкамон на Крите) filosoff.org
комнату на цыпочках, прислушивалась, не плачет ли; нет, лежала тихо, как мертвая.

Поздно вечером опять вошла и увидела, что она лежит на спине; глаза открыты, без взора, как у слепой; губы стиснуты; лицо, как в столбняке: часто дышит, «как рыба на песке», – подумала Зенра. Окликнула ее и, не получив ответа, заплакала.

Дио трудно, медленно перевела на нее слепой взор, с усилием разжала губы и проговорила:

– Уйди!

– Ох, светик мой, сердце мое, не гони меня, старую! Куда я от тебя пойду? Вместе поплачем – легче будет, – пролепетала Зенра.

Дио посмотрела на лицо ее, как на пустое место, и повторила:

– Уйди!

Вся съежившись, как прибитая собака, старушка молча вышла из комнаты.

Ночью Дио встала и пошла бродить по дому. Заглянула в часовенку, увидела изваяние Матери, вспомнила, как наемни молилась: «Мать, помоги!» – и подумала: «Хорошо помогла!»

Вдруг очнулась у стены: билась об нее головой долго, сама не понимая, что делает; наконец, поняла: глухо все в мире, как эта стена – сколько ни бейся, никто не ответит.

Зашла в Эойину спальню. Открыла платяную скриню, вынула платье одно, другое: от них пахло все еще живую, как будто, уже покинув тело, душа оставалась в одежде.

На самом дне скрины увидела два беленьких башмачка – те, что вчера стояли на крыше; должно быть, Зенра спрятала их, чтобы она не увидела. Судорога слез сдавила ей горло, но плакать не могла: слезы высохали на сердце, как вода на раскаленном камне.

Вернулась на прежнее место, легла и опять задышала часто, как рыба на песке. Иногда впадала в забытие, но не могла уснуть: только что начинала засыпать, как, вся вздрогнув, точно от внезапного толчка, просыпалась.

Когда закрывала глаза, видела детские веснушки около мертвых глаз; видела, как мертвая кукла шевелится, точно живая, в бушующем пламени; белые клубы дыма розовеют в лучах восходящего солнца, точно наливаются теплою кровью бледные призраки, и кружится, пляшет легкая, с легким дымом, плясунья: «Так спляшу, как еще никогда!» И все входила в комнату Зенра, шла на нее, как смерть, шевелила губами, шептала: «К Эойе, к Эойе пойдем!»

Ночь тянулась бесконечно, а когда посерело круглое отверстие в потолке над очагом, – удивилась: только что был вечер, и вот уже опять светает. Пожалела ночи; в темноте было легче: как будто свет дневной резал не только глаза, но и все тело.

Няня начала что-то стряпать на очаге. Дио молча сделала ей знак рукою, чтоб перестала. Старушка вышла во двор и продолжала стряпать на жаровне. Принесла тыквенной каши, запеченной в горшке, и пшеничных пряженцев, два любимых блюда госпожи своей. Со вчерашнего дня ничего не ела и не пила, кроме воды; от одной мысли об еде тошнило ее. Опять сделала знак, чтобы Зенра унесла блюда.

Старушка даже не заплакала, а только посмотрела на нее так, что она сжалась над нею, сказала:

– Дай молока.

Зенра принесла кувшин с молоком и налила в чашку. Дио отхлебнула глоток и, увидев, что Зенра держит хлеб в руке, не смея подать, сама взяла его, отломала кусочек, положила в рот, пожевала и выплюнула: не могла проглотить.

Опять легла, повернулась лицом к стене и укрылась с головой.

День тянулся так же бесконечно, как ночь, и так же мгновенно погас: только что солнечный свет падал на стену радужным зайчиком сквозь разноцветную пленку рам, и вот уже опять засветились лампы в часовенке. Опять ночью бродила она, не находя себе места, и билась тихонько головой об стену.

Так прошло три дня. Все ничего не ела. Начиная слабеть. Голова тихо кружилась от слабости; тихо уносили ее, укачивали какие-то мягкие волны. Не укачают ли до смерти? Нет, знала, что не умрет, пока не сделает чего-то. «Что надо сделать, что надо сделать?» – повторяла с мукою, как будто забыла, хотела вспомнить и не могла.

Заходила мать Анаита. Что-то говорила, умное и доброе. Но она не понимала: слова не входили в сердце ее, как хлеб в горло. Поняла только, что мать Акакала очень больна, может быть, скоро умрет, и она, Дио, будет великою жрицею. «Не великая жрица, а мокрая курица!» – вспомнила, и тень усмешки промелькнула, мертвая, по мертвому лицу.

Заходил и Тута. Говорил о скором отъезде в Египет, спросил ее, может ли она ехать с ним.

– Не знаю, может быть, и могу, – ответила так равнодушно, что сама удивилась; вспомнила, как наемни протягивала руки к кораблю, уходившему в море: теперь уже ехать в Египет незачем.

Когда Тута произнес имя Ахенатона, что-то в лице ее дрогнуло, но тотчас же опять застыло, умерло.

Тута ушел, опечаленный: предчувствовал, что Дио плясунья, жемчужина Царства Морей, чудесный дар царю Египта, потеряна.

В сумерки пришел Таму, постучался в дверь со двора. Открыла Зенра, но не впустила его, пошла сначала спросить, можно ли.

– Нельзя, нельзя! Не пускай! – вскрикнула Дио, как будто испугавшись. Но, когда уже Зенра выходила из комнаты, вернула ее:

– Постой, няня...

И, подумав, сказала:

– Пусть войдет.

Страшно ей было увидеть его после Горы; но сквозь страх смутно чудилось, что он ей нужен сейчас как никто: от него-то, может быть, и узнает, что надо сделать, чтобы умереть спокойно.

Таму вошел и, не здороваясь, молча, остановился поодаль. Дио тоже молчала. С Горы не виделись. Смотрели друг на друга пылливо, пристально.

– Здравствуй, Таму, – сказала она наконец. – Что же ты стоишь? Садись.

Он подошел и сел, выбрав из двух стульев тот, что подальше.

– Ну, говори, зачем пришел?

– Проститься. Завтра еду.

– Едешь, правда? Ведь уж в который раз!

– Да, все не мог. А теперь смогу.

– Почему теперь?

– Можно все говорить?

– Говори.

– Ты очень больна, Дио; больной всего не скажешь.

– Нет, говори все.

– И о ней можно?

– И о ней.

Поняла, что «о ней» – значит об Эойе.

Оба говорили как будто спокойно, и чем страшнее было то, о чем говорили, тем спокойнее; взвешивали каждое слово, чувствовали, что каждое может их спасти или погубить.

– Знаешь, кто убил Эойю? – спросил он, глядя ей прямо в глаза.

– Кто?

– Я. Не веришь?

– Нет.

– Посмотри мне в глаза. Разве так лгут?

Посмотрела, закрыла лицо руками, опустилась на ложе и лежала долго, тихо, как мертвая. Потом отвела руки от лица, привстала и спросила:

– Как ты ее?.. – Не могла выговорить: «убил».

– Не я сам, а другие, – ответил он.

– Кто?

– Все равно. Кто-то спросил: «убить?» и я сказал: «убей». Значит убил.

– Кинир? – догадалась она. – Как же он это сделал?

– Подкупил бычников, чтобы опоили быка.

– Зачем ты ее?.. – опять не договорила.

– Чтобы снять чару. Убийца сказал, что если Эойя умрет, чара снимется с тебя, и ты меня полюбишь.

– И ты поверил?

– Не знаю. Может быть, и поверил.

– А теперь?

– Теперь вижу, что вышло не так: не ты меня полюбила, а я тебя разлюбил. Но все равно, чара снята.

– А ты знал, что если ее убьешь, то и меня?

– Я об этом не думал. А если б и думал, надо было выбрать: себя убить или тебя. Я выбрал...

Остановился, взвесил и кончил:

– Выбрал тебя. Пойми же, Дио, я не для того пришел, чтобы просить прощенья. Я знаю, ты меня простить не можешь. Три раза прощала: в первый раз, в пещере, когда я хотел тебя осрамить; второй – на берегу, когда ты купалась с Эойей; и третий – на Горе, когда радела с фиадами. А четвертый – не простишь. Для того-то я и убил, чтобы не могла простить.

– Зачем же пришел?

– Чтобы ты знала все и не лгала. Если не любишь, ненавидь, но не прощай, не лги!

Дио ответила не сразу, как будто опять глубоко задумалась.

– Нет, Таму, – прошептала, наконец, чуть слышно, – ты меня не разлюбишь. Если б разлюбил, не пришел бы.

– Не знаю. Может быть, и не пришел бы, – тоже как будто задумался он. – Но вот завтра уеду и уже никогда не вернусь. Был мертв и ожил; погибал и спасся, как пес сидел на цепи и цепь разорвал. Свободен, свободен, свободен! И, если бы снова надо было убить, убил бы снова...

– Нет, Таму, мы никогда... – начала она опять, остановилась, тоже, как он, взвесила и кончила:

– Мы никогда не разлюбим друг друга! Так невозможны, нелепы, похожи на «дважды два пять» были эти слова, что он не поверил ушам своим. Смеркалось. Он уже почти не видел лица ее. Вдруг послышалось ему, что она тихонько плачет и шепчет.

– Таму, поди сюда!

Сама не знала, что с нею, как будто не она, а кто-то другой возопил из сердца ее: «Мать, помоги!» и вдруг чьи-то сильные руки протянулись к ней и подняли ее, как ребенка поднимают руки матери. Развязался удушающий узел на горле – судорога плача без слез, – и слезы хлынули.

– Таму, поди сюда!

Он подошел.

– Наклонись. Еще, еще. Вот так...

Приподнялась, схватила обеими руками голову его и молча поцеловала в лоб. Когда отпустила его, он отошел, шатаясь, прислонился головой к одному из столбов очага и долго стоял так, не двигаясь. Потом вернулся к ней и спросил со своей всегдашней, тяжелой, точно каменной, усмешкой:

– Что это значит? «Тому, кто сделал зло тебе, плати добром» – так, что ли? – вспомнил слова бога Таммуза, начертанные на клинописной скрижали незапамятной древности.

– Так, брат мой, так! «Тому, кто сделал зло тебе, плати добром», – повторила она с тихим восторгом и ужасом. – Кто это сказал?

Он вдруг перестал усмехаться, побледнел, сжал кулаки и поднял их над головой:

– Тот, из-за кого мир погибает – лжец, убийца, диавол, будь он проклят.

– Таму, брат мой, зачем проклинаешь Того, кого любишь?

– Его люблю?

– Его. А ты не знал?.. погоди, скоро узнаешь...

Она опустилась на ложе, закрыла глаза и зашептала уже невнятно, как сквозь сон:

– Ну, ступай, а я отдохну. Очень устала... Завтра не уезжай, подожди. Если буду жива, скажу, что надо делать, а если умру, узнаешь сам... Подождешь?

Он ничего не ответил, неуклюже, медленно, грузно зашевелился, сгорбился, как под навалившейся тяжестью, и вышел из комнаты.

Лицо его было так страшно, что Зенра, увидев его, побежала узнать, что случилось. Заглянула в комнату к Дио, вошла на цыпочках, подкралась к ложу, наклонилась и увидела, что она глубоко спит.

Снилось ей, будто идет она с Таму глухой тропинкой в дремучем лесу на Иде горе, как в тот день, когда он спас ее от вепря. Сосны шумят, как море; падает мокрый снег хлопьями; розовеет цвет миндаля над снегом, в густеющих сумерках. «Бога заклать, бога заклать, вот что надо сделать!» – говорит ей Таму. А снежные хлопья падают; вьется вьюга, завивается в круги Лабиринта

Мережковский Д. Рождение Богов (Тутанкамон на Крите) filosoff.org
безысходного, и ревет в нем ревом голодным бог-зверь. «Зверя заклать, зверя заклать, вот что надо сделать!» – говорит уже не Таму, а кто-то другой.
«Кто это? Кто это?» И вдруг узнала кто: царь Египта, Ахенатон.

Проснулась, но сон как будто продолжался наяву: услышала голодный рев зверя – гул подземных громов. Как от проезжавшей исполинской, нагруженной камнями, телеги, стены дома задрожали; висевший на стене медный щит зазвенел; два бронзовых кувшина, соприкасавшихся – сосуды возлияний в часоуенке – задрезежали; столбы очага заскрипели; где-то посыпалась штукатурка с потолка; собака во дворе завыла, овцы в овчарне заблеяли; и ужасом черным чернота ночи пахнула ей в лицо.

Но не ужаснулась: с детства привыкла к этим подземным гулам; только привстала на ложе, обернулась к часоуенке и прошептала:

– Всех детей твоих, Матерь, помилуй, спаси, сохрани!

Ждала, чем это кончится. Помнила, как помнили все кэратийцы, то, что было четыре века назад: тогда земля тряслась так, что люди думали, пришел конец мира: «Ужо провалитесь все в преисподнюю!»

«Конец или не конец?» – ждала она спокойно. Снова проехала телега с камнями – прокатились гулы, но глуше, все глуше – и замерли. Наступила тишина. Петух где-то пропел: «еще не конец!»

Дио опять легла и заснула, так же глубоко, как давеча. Солнце уже падало на стену радужным зайчиком, когда проснулась, еще больная, слабая, но уже другая: что-то изменилось в лице ее так, что Зенра, взглянув на нее, подумала: «будет жива!»

– Няня, молока, хлеба! Скорее! Ужасно есть хочется!

Выпила две чашки молока, съела два ломтика хлеба с волчьей жадностью. Знала по жреческому опыту, что после такого поста сразу есть много нельзя, надо сначала привыкнуть. Привыкала постепенно, увеличивая меру еды, от завтрака к полднику, от полдника к ужину. Няня стряпала блюдо за блюдом – каши, запеканки, похлебки, взварцы, пряженцы; суеуилась, бегала, ног под собой не слышала от радости, только рыже-черные косички парика мотались, как у пьяной, и жужжала крокодилья песенка:

«Папарука – папарака!»

Дио выздоравливала с чудесною быстротой, как будто воскресала из мертвых. Но любовь старушки была пронизательна: вглядываясь в нее, смутно чувствовала она что-то неладное. Какая-то темная тень пробегала иногда по лицу Дио; какая-то безумная мысль светилась в глазах.

«О чем она думает?» – хотела понять Зенра и не могла, только вещим страхом страшилась сама не зная чего.

«Зверя заклать, зверя заклать, вот что надо сделать!» – вспомнила Дио свой сон и слова Эойи: «Если Бог такой, как думают люди, то это не Бог, а диавол!» Диавола с Богом спутали в узел так, что не распутаешь – надо рассечь. «Отец есть любовь»: не Сыну – людям, а людям Сына приносит в жертву Отец, – вот что надо сказать. Землю очистить от крови жертв человеческих, уготовать путь Тому, Кто идет, – вот что надо сделать.

Ахенатон пророк сказал, и Дио жрица сделает.

II

Кносское ристалище уснуло под чарой Луны, Пазифайи-Всеозаряющей.

Бычьим стойлом, теплотой навозной, пахло в дощатой келийке, темной и тесной, как гроб, той самой, где некогда Дио убирала в подвенечный убор Эойю, невесту бога Быка.

Лунный луч, падая сквозь узкое оконце-отдушину, повис белым лоскутом на черной дощатой стене, и в белом свете его огонек лампы краснел.

Дио, в плясовом наряде – остролопастном кожаном переднике, медно-кожаном

Мережковский Д. Рождение Богов (Тутанкамон на Крите) filosofff.org
поясе-валике, перетянувшем стан туго-натуго, в высоких, из белой кожи, ременчатых полусапожках, с верхней частью тела голою, сидя на полу, на корточках, точила жертвенный бронзовый нож, длинный и тонкий, как ивовый лист: так и назывались эти ножи «ивовыми листьями». Рукоять его, из черного агата, была в виде четырехконечного креста.

С тихим звоном – свистом змеиным, скользило лезвие туда и сюда, по влажно-темному точильному камню. Попробовала нож на коже передника: остер, как бритва, а ей все казался тупым. Продолжала точить.

Слабое мычание послышалось из-за дощатой перегородки. Встала, открыла окошечко, высунула голову, выставила руку с лампадою, осветила стойло и заглянула в него. Крепче пахнуло теплотю навозною, бычьим запахом, как бы дыханьем самого бога-зверя. Минотавра.

Бык, лежа на соломе, спал и прерывисто-глухо мычал во сне. Может быть, снились ему медвяно-злачные пастбища, ледяно-струйные воды на Иде горе, где некогда пасся он, так же как братья его, тяжело-тучные, огромно-рогатые, чудовищно-прекрасные, первенцы творения, сыны Земли Матери богоподобные.

В первый раз после убийства Эойи Дио увидела Пеночку. Зла на него не имела; понимала, что зверь невинен, а все-таки подумала: «вот на этих самых рогах трепалось тело ее кровавым лохмотьем».

Дрогнула рука, наклонилась лампада, и на спину быка капнула из горлышка капля горячего масла. Он проснулся, вскочил и повернул к ней голову. Часто, бывало, кормила его то ломтем ячменного хлеба, густо посыпанным солью, то медовой лепешкой. Он вспомнил, должно быть, об этом и теперь: подойдя к оконцу, протянул к ней морду, фыркнул, дохнул ей прямо в лицо теплым дыханьем и посмотрел прямо в глаза.

«Знает все, только не может сказать», – вспомнила она слова Эойи. О, тот кроткий, все еще как в первый день творения, божественно-чистый взор животного! Не могла его вынести, захлопнула оконце и быстро, как будто позвал ее кто-то, оглянулась туда, где курился шафраном и ладаном маленький глиняный, с бычьими рогами, жертвенник, а за ним на побеленной стене виднелась роспись, нарочно-неискусная, по образцу незапамятно-древнему: так, может быть, еще дикие люди пещер рисовали, царапали острием кремня на костях носорогов и мамонтов.

Мать Земля, зверей Владычица. Личико детское, в виде сердечка или виноградного листика; широко распростертые руки, непомерно длинные, в знак вездесущей благодати, вокруг нее – угольчатые крестики. Крестным знаменьем Мать осеняет всю тварь, земную, водяную, воздушную: птицы сидят на руках ее; звери ластятся к ногам; в складках ризы, как вода струящихся, плавают рыба; и под самую руку благословляющую подсунул голову бык – «Пеночка, Пеночка!» – подумала Дио – не лютый бог Бык, Минотавр, а кроткий Телец жертвенный, закланый от создания мира, – Сын.

«Что я делаю, что я делаю? На Кого точу нож?» – ужаснулась она. Но поздно: сила, сильнее ужаса, влекла ее, neodолимая. Как будто не сама она решала, а кто-то за нее, что надо делать.

Мерны, легки и тверды были все ее движения, ладны, как в пляске: «Так спляшу, как еще никогда!»

Вторые петухи пропели: менее часа оставалось до обхода ночной стражи; за это время надо было кончить все.

Быстро нагнулась, схватила нож с точильного камня и всунула его в ножны у пояса. Взяла два приготовленных факела и один из них зажгла об огонь лампы. Вышла из келийки в темный и узкий ход между бычьими стойлами; из него – в другой, из другого – в третий; ходы пересекались, путались, как в лабиринте. Нигде ни души, только в последнем на полу у двери спал мертвым сном пьяный сторож-старик. Половина сторожей и бычников перепилась за ужином: Дио подослала им кувшин вина, подмешанного сонным зельем.

Переступив через спящего, вошла в сени, широкие, низкие, на низких кипарисовых столбах. То самое чучело телицы, в котором провела когда-то ночь Эойя, невеста бога Быка, стояло здесь под серым чехлом, как привидение. Дио задвинула засовы на дверях, воткнула горящий факел в медный

Мережковский Д. Рождение Богов (Тутанкамон на Крите) filosoff.org на стене крюк-подсвечник и с другим, незажженным, подошла к приставной деревянной лесенке на сеновалы и житницы, где хранились корм и солома для бычьих стойл. Взлезла по ней. Незажженный факел в руках ее обмотан был длинной, одним концом прикрепленную к нему веревкою. Размотав ее, свесила свободный конец вниз и всунула факел в ворох соломы. Сошла, убрала лесенку, спрятала в дальний угол под чучело телицы, и, сняв горящий факел с крюка, подожгла им спущенный конец веревки.

Слабо пропитанная составом смолы, серы и других горючих веществ, веревка тлела, как трут. Такие зажигательные снаряды – хитрость дэдалов – употреблялись при осаде крепостей и в морских сражениях: по длине веревки можно было рассчитать с точностью время поджога.

Вспыхнет факел в соломе, начнется пожар на сеновалах и житницах, перекинется оттуда на другие деревянные части здания – потолки, стропила, столбы, лестницы, – и все великое Кносское ристалище, логово Зверя, истребится огнем.

Вышла из сеней на ристалищный круг. Голые плечи ее вздрогнули под свежестью ночи, уже осенней. В чистом, беззвездном небе полная луна горела почти ослепительно. Белый на круге, песок искрился голубыми искрами, как снег. Белые уступы скамей были пусты; только там, где в проходах чернели тени, казалось, теснились жадные зрители-призраки. Черным зевом сиял царский шатер, и высоко над ним блестела серебряная морда Быка.

Дио подошла к воротам в стойло Пеночки. Решетка на них была устроена так, что один человек мог поднять ее без труда, вертя колесо, на которое накручивалась медная цепь. Дио подняла решетку.

Бык выскочил из стойла, выбежал на середину круга, остановился и с тихим мычаньем, как бы вздохом любви поднял морду к луне – Пазифае-Всеозаряющей. С маленькой тонко очерченной головкой, с рогами исполинскими, гнутыми, как роги лиры, с обвислыми, на непомерно тучной шее, складками кожи, с тонкими, как бы точеными, ножками, с прозрачно-желтым карбункулом умного глаза, с белою, как белая пена морей, лунным серебром отливающей шерстью он был прекрасен, как тот божественный Бык, что вышел из синего моря, с белою пеной ревуших валов, – Пазифайин возлюбленный.

Повернулся к Дио и медленно пошел на нее, уставив рога, как будто хотел заботать; но, подойдя, остановился и, когда она ухватилась за рога обеими руками, мотнул головою снизу вверх, как будто яростно, а на самом деле ласково, точно играючи, поднял ее, перекинул к себе на спину и понесся с нею, пляшущий, как бы гордясь прекрасною всадницей: так некогда несся по синему морю белый, как белая пена ревуших валов, бог Бык с богинею Европою.

Дио вынула нож из ножен, хотела ударить и не могла. Увидела крест на рукояти и вспомнила крестики Матери, благословляющей тварь. Опять, как будто не сама она, а кто-то за нее решил, что надо делать: не поднялась рука на зверя кроткого, – может быть, подымется на лютого.

Давеча бросила факел, и он продолжал гореть на песке, как рана, в лунно-белом теле ночи, красная. Соскочила с быка, подбежала к факелу, схватила его и, когда бык снова подошел к ней, сунула горящий сноп между рогов его так, что он зацепился за них. Бык отпрянул, заревел и замотал головою неистово, стряхивая огненный венец. Сразу не мог стряхнуть, только раздувал огонь; искры сыпались дождем, капали капли горячей смолы, пахла паленая шерсть. Наконец, стряхнул, взвился на дыбы и прынул на нее бешено: теперь уже не играл.

Дио отскочила. Мимо нее ударились в землю рога с такою силою, что вонзились глубоко, и зверь, упав на передние ноги, сам оглушенный ударом, сразу не мог поднять головы.

В то же мгновение Дио подскочила к нему сбоку, наступила коленом на загривок и воткнула нож между хребтом и левой лопаткой: метила в сердце.

Если бы мать, убивая в безумии дитя свое, вдруг, когда уже вонзился нож, опомнилась, то испытала бы то же, что Дио в тот миг.

С ревом глухим, похожим на человеческий стон, бык поднял голову, отшвырнул плясунью так, что она упала навзничь; вскочил, рванулся, зашатался и

Мережковский Д. Рождение Богов (Тутанкамон на Крите) filosofff.org
рухнул. Уткнув морду в песок, захрапел и забился, как подстреленная птица. Еще раз поднялся на передние ноги. Дио опять подбежала к нему, выдернула нож, стала на одно колено и вонзила лезвие в горло его так глубоко, что в мягкие складки кожи рука погрузилась с рукоятью ножа – крестом. Кровь брызнула в лицо ее. Отвернулась и закрыла глаза, чтобы не видеть.

Когда очнулась, увидела, что зверь лежит у ног ее, бездыханный, и клубы серого дыма, прорезаемые красным пламенем, валят из сеней ристалища. Вспыхнули завесы царского шатра, огненный столб взвился, полыхнуло багровое зарево по небу, и лицо луны побледнело.

Послышался рев священной трубы, тритоновой раковины – вестник тревоги, и по всему дворцу, Лабиринту, прокатились, как бычьи ревы, многоголосые отклики.

Тени, черные по белым уступам скамей, забегали, как муравьи. Люди метались в ужасе, били себя в грудь и в голову, рвали на себе волосы, рыдали и плакали:

– Аии Адун! Аии Адун!

Издали указывали пальцем на богоубийцу, но не смели к ней подойти. Иные спускались на круг ристалища, делали два-три шага вперед, но вдруг останавливались, поворачивались и бежали назад, с криком нездешнего ужаса:

– Ларан-лаза! Ларан-лаза!

Это было имя страшного беса-оборотня, мужеженского. Дио поняла, что бесом кажется она людям потому, что они не верят, чтобы человек мог совершить такое злодейство.

Наконец, подошла к ней, в сонме жриц, жрица-начальница игр, мать Анаита. Медную секиру, Лабру, держала она высоко над головой и произносила заклятие:

– Лабра святая – на силу нечистую! Откуда бы ты ни пришел – ни пришла, из огня, воды, земли или воздуха, сгинь, пропади окаянный – окаянная!

Заклинала для других, сама же знала, что перед нею человек, а не бес. Но и другие, видя, что Дио от Лабры не сгинула, тоже осмелели, подошли, обступили ее, грозя кулаками, ножами и палками:

– На костер, на костер окаянную!

Но по знаку жрицы затихли, отхлынули.

Мать Анаита, подойдя к ней, сказала:

– Что ты сделала, что ты сделала, безумная!

Но, взглядевшись в бледное, обрызганное кровью лицо ее, вдруг что-то поняла и замолчала. Молча взяла руку ее, крепко сжала в своей и, почувствовав липкость крови, не выпустила, сжала крепче. Умное и доброе лицо ее сморщилось, и, всхлипнув, она прошептала ей на ухо:

– Ох, горькая, горькая, что ты с собою сделала!.. За Эойю отомстить хотела?

– За нее и за всех, – ответила Дио спокойно: чем больше был ужас других, тем она спокойнее.

– Кровь человеческих жертв – мерзость пред Богом.. – начала и не кончила; хотела оказать: «Отец есть любовь», но почувствовала, что пусто и глухо прозвучали бы эти слова. Только для того и умирала, чтоб их сказать, но вот онемела и знала, что умрет в немоте.

Мать Анаита, как будто угадывая мысль ее, покачала головой с безнадежностью:

– Разве поймут? Умрешь – и ничего не сделаешь!

– Пусть умру за него!

- Мережковский Д. Рождение Богов (Тутанкамон на Крите) filosoff.org
- О ком говоришь?
 - О Том, кто придет.
 - Кому должно прийти, уже пришел.
 - Нет, придет.
 - Он тебе и велел?
 - Он.

Жрица посмотрела на Дио долго, пристально, и вдруг выпустила руку ее. Ничего не сказала, но Дио поняла без слов: «Смотри, не ошибись: если Он уже пришел, – праведна будет казнь твоя, – огонь костра».

– На костер, на костер! Истреби от земли такую, ибо ей не должно жить! – опять наступала толпа, грозя и бушующая.

Кто-то поусердствовал, сбегал в сторожку, принес пару медных, с цепями, наручников и подал их Анаите. Дио сама протянула к ним руки, и старица вложила их в наручники. Цепи зазвенели.

Дио подняла руки к небу, и в наступившей вдруг тишине, воскликнула громким голосом, с такою радостью в лице, как будто уже видела Того, Кого звала:

– Приди! Приди! Приди!

III

Дио ждала приговора. Никто не мог произнести его, кроме великой жрицы, Акааллы, а та лежала тяжелобольная, почти при смерти, в святой обители Пчел на Горе.

Пчелы не знали, как сообщить ей страшную весть; но нельзя было скрыть. Когда она услышала о преступлении Дио, своей любимой дочери, нареченной наследницы, – думали, не выживет. Выжила, но лишилась языка, и половина тела отнялась.

Долго лежала, как мертвая; наконец, показала знаками, что хочет писать. Ей подали дощечку. Цепенеющей рукою что-то нацарапала.

Гонец отвез письмо к Дио. В нем было только два слова: «Прости – простит».

Дио поняла: «Прости Великой Матери кровь Иола, Эфры, Эойи, кровь всех человеческих жертв, – и Мать простит тебя, помилует».

На той же дощечке Дио написала ответ: «Не прощаю». И гонец отвез письмо обратно.

Мать Акаалла прочла ответ и написала под ним:

«Сжечь».

Это было утром, а в ночь начала она отходить. Одна из Пчел, угадав по выражению лица ее и судорожным движениям пальцев, что умирающая хочет что-то еще написать, подсунула ей под руку дощечку и вложила в пальцы палочку. Но пальцы бессильно разжались, и палочка выпала.

К утру великая жрица скончалась. Тайну последней воли своей – может быть, прощение Дио – унесла она с собою в могилу.

* * *

Дио должны были сжечь на том самом холме, где дней десять перед тем сожжено было тело Эойи.

Вырубленная в толще скалы пещера-келийка, часовня Адунова, служила тюрьмой для жертв. Голые стены, низкие своды, толстая решетка в окне, ржавые засовы на дверях – все напоминало тюрьму. Но тут же было великолепное, как бы царское, ложе из пурпура, кресла из слоновой кости и черного дерева.

Мережковский Д. Рождение Богов (Тутанкамон на Крите) filosoff.org
Благовонный дым курильниц смешивался с росною свежестью живых лилий в чудесно расписанных сосудах. Яства и вина с царской трапезы, пышные наряды и уборы из драгоценных камней – все приносилось жертве, как жертва приносится Богу. И злою насмешкою казались ей ночные туфельки из павлиньих перьев; ониксовый ковчезек с пудрой вавилонских цариц и блудниц, толченым розовым жемчугом; ковчезек нефритовый с акациевым углем и амброю, египетским зубным порошком: уже за тысячу лет царь Хафу-Хеопс, строитель великой пирамиды, чистил им зубы.

Люди не знали, как угодить ей, чем унежить ее. Смотрели на нее с благоговением и ужасом, падая ниц, поклонялись ей, как Богу, ибо во всякой жертве заколаемой – закланый Бог.

Тяжко ей было это поклонение: как будто хоронили ее заживо, убивали душу прежде тела. Если бы оскорбляли, били, плевали в лицо, ей было бы легче.

Палачихами жертв человеческих не соглашались быть критские женщины. Должность эту исполняла фракиянка из полуночного племени Бэссов, поклонников лютого бога Загрея, Человекотерзателя. Клекот хищной птицы напоминало имя ее – Гла. Звали ее также Резунья – та, кто режет, заколает жертвы, и Рваные-Ноздри, потому что за какое-то ужасное злодеяние еще там, на родине, палач вырвал ей щипцами ноздри до кости.

Гла была старуха старая, но крепкая. Волосы у нее были невиданного на юге соломенно-желтого цвета; глаза бледно-голубые, уныло-жадные, как у коршуна-стервятника; губы тонкие, сизые, мокрые, как земляные черви; страшно-курносое лицо напоминало мертвый череп.

Лето и зиму носила она фракийскую бассару, лисью шубу, с облезлою, кисло пахнущею мездрую, и в ножнах за кожаным поясом длинный и острый, как шило, кремневый жертвенный нож. Почти всегда была навеселе; напивалась не виноградным, а каким-то тоже неведомым, хлебным вином, белым, как вода, и жгучим, как огонь.

Говорили, будто бы особенно любит она резать маленьких детей и, если долго не бывает детских жертв, крадет младенцев и, перерезав им горло, сосет кровь.

Народ ненавидел ее так, что растерзал бы, если бы не охраняла ее стража великой жрицы, благоволившей к ней и считавшей ее верною служительницей Матери. Когда Дио однажды спросила мать Акакаллу, зачем терпит она эту гнусную тварь, та ответила ей:

– Не обижай Глы. Чистая лилия – дочь Земли Матери, но и смердящая падаль – ее же дочь. Земля родит – земля и тлит. Два слова у Матери: «Люблю – убью»; и два лица: одно, как солнце, а другое – Гла.

Дио ужаснулась этому кощунству, но тогда простила, подумала, что не понимает. Теперь поняла и уже не прощала.

Палачиха была и тюремщицей. В келью узницы могла она входить во всякое время дня и ночи.

Войдет потихоньку, остановится поодаль и смотрит на Дио молча, пристально, жадными, как бы влюбленными, глазами. Страшно-курносое лицо – мертвый череп – улыбается; в бледно-голубых глазах светится отвратительная ласковость; тонкие губы – земляные черви – шевелятся, шепчут что-то неслышным шепотом, – уж не те ли два слова: «Люблю – убью».

Бывали минуты, когда Дио казалось, что мать Анаита права: «Умрешь и ничего не сделаешь». Да, не сделав ничего, умирает. Узел, спутавший Бога с дьяволом, хотела рассечь и не смогла, только сама в нем запуталась: кого убила, Зверя или Бога, так и не знала и до конца не узнает.

Кому-то говорит: «Приди!» Но кто Он? Ни лица, ни образа, ни имени. И как придет, откуда, когда? Да и придет ли когда-нибудь? Где обетования пришествия Его? Не все ли есть, как было от начала мира, и не все ли будет, как есть, до конца?

И ужас леденит ей сердце: «Не придет!» – ужас безумья – с ума сойти – поверить, что Мать есть Гла.

IV

Радуйся, чистая Дева,
Брачное ложе готовь!
Ярость небесного гнева
Да отвращает любовь! –
пели жрицы Адуновы, провожая Дио на костер. Белые одежды, белый веночек из шафранных цветов был теперь и на ней, как некогда на Эоие.

Узкой и темной, в толще скалы прорубленной лестницей вышли на широкую, наружную, всю залитую светом луны, ту, что вела от Львиных ворот к плоской вершине холма, где находился жертвенник жертв человеческих.

В чистом, беззвездном небе луна горела почти ослепительно. Облик горы Кэратийской, голубевший в лунной мгле, напоминал обращенное к небу лицо великана – бога Адуна – умершего. В черном кольце кипарисовых рош голубовато белел белокаменный город-дворец, жилище бога Быка – Лабиринт. Лесом корабельных мачт, чащей снастей чернела внизу, у подножья холма Кносская гавань, и до самого края небес искрился в море лунно-серебряный путь.

Жадно смотрела Дио на море, жадно вдыхала свежесть морской соли, слушала гул прибоя, и жалко ей было моря, неба, земли, солнца, которого уже никогда не увидит; жалко всей земной бедной жизни. Плакало в ней сердце обо всем, как плачет дитя, отнятое от груди матери.

Медленно всходило шествие по лестнице, в свете двойном, белом от луны и красном от факелов. Глухо волновалась черная жатва человеческих голов вне святой ограды – внутрь никого не пускали. Вдруг люди увидели шествие и закричали неистово:

– Радуйся! Радуйся!

С криком толпы сливались ревы труб, тритоновых раковин и визги флейт, и гулы тимпанов, и песня жриц.

Радуйся, чистая Дева,
Брачное ложе готовь!
На каменном жертвеннике с глубокой ямой внутри сложен был низкий костер из очень сухих и смолистых дров, сосновых, кедровых, кипарисовых, со множеством хвороста, пакли, войлока, пропитанных благовонными смолами и особым составом горючих веществ: стоило поджечь костер с любого конца, чтоб он сразу вспыхнул исполинским факелом.

Жрицы подвели жертву к костру и раздели ее донага. Потом принесли и положили на землю, у ног ее, большой, из двух дубовых досок сколоченный крест. Палачиха подошла к ней и сказала:

– Ложись.

Дио стала на колени, но не знала, как лечь. Гла повалила ее навзничь, положила спиной на крест, протянула ноги, раскинула руки; привязала ступни к нижнему концу продольной доски, а кисти рук – к обоим концам доски поперечной; обмотала веревкою стан и, продев ее в четыре угла креста, завязала позади его крепким узлом.

Двенадцать жриц, по трое с каждого конца, подняли крест и положили его на костер.

«Так вот что значит Крест», – подумала Дио.

Знала, что костер зажгут не сейчас, а только с первым лучом восходящего солнца. По луне и звездам рассчитала, что до восхода оставалось часа три.

Три часа – три вечности – раскалывалось сердце ее надвое, и не знала она, какая из двух половин настоящая. Как на исполинских качелях качалась, то взлетала, то падала и не знала, какой размах будет последним:

«Придет – не придет?»

Мережковский Д. Рождение Богов (Тутанкамон на Крите) filosofff.org
Ночь была свежая. Кто-то сжалился, накинул на ее голое тело козий мех. В тело впивались тугие веревки, резали, как ножи. Руки и ноги затекали. Кровь ударяла в виски. Голова кружилась, тошнило от противно-приторного запаха: жгли одуряющее курево, чтобы притупить муки жертвы.

Дио вспомнила, как давеча, на лестнице, одна из жриц шепнула ей на ухо: «Не бойся, живую не сожгут». Поняла тогда: прежде, чем сжечь, зарежут. И теперь подумала: «Страшно гореть живой в огне, но уж лучше это, чем нож Глы!»

Гла над ней реяла, как ворон над трупом. Страшно-курносое лицо – мертвый череп – улыбалось; в бледно-голубых глазах светилась гнусная ласковость; мокрые губы – земляные черви – шевелились – шептали: «Люблю – убью!» Кончик кремневого шила-ножа приставляла к самому сердцу ее, тихонько-тихонько колола и выступавшую капельку крови слизывала жадно языком.

Вскрикнув, Дио опомнилась. Никого не было; только лунное небо светило над нею, такое далекое, такое близкое, как еще никогда. Черный ужас безумья находил на нее: вот-вот сойдет с ума, поверит, что мать есть Гла.

И опять на страшных качелях качалась, то взлетала, то падала: «Придет – не придет! Придет – не придет!»

Вдруг сорвалась, упала в кромешную тьму: «Нет, никогда, никогда, никогда не придет!» Но и оттуда, из тьмы кромешной, возопила: «Приди!»

И Он пришел.

Крест зашевелился под нею, приподнялся. Кто-то развязывал веревки на теле ее. Еще не видела кто, не смела открыть глаза. Вдруг открыла, увидела, вскрикнула:

– Таму!

У

Очнулась в Тутиных носилках. Узнала их по иероглифам и росписи: солнечный шар бога Атона с простертыми лучами-руками, благословляющими царя Египта, Ахенатона.

Носилки стояли на земле. Зенра кутала тело ее в золотисто-желтый, с серебряными пчелками, покров. Таму, наклонившись над нею, что-то говорил. Долго не могла понять что; наконец, поняла. Спросила:

– Ты спас меня, Таму?

– Нет, не я, а Он.

– Да, Он, и ты с ним. Как же ты это сделал?

– Именем царя Ахенатона упростили мы с Тутой царя Идомина, чтоб он отменил приговор.

– Царя Идомина? – удивилась она, подумала и покачала головой. – Царь этого сделать не мог. Никто не мог, кроме великой жрицы...

– Великая жрица скончалась, а другой еще не избрали. Царь своею властью мог...

– Нет, не мог. Отчего ты не все говоришь? Я хочу знать все.

– Узнаешь потом, а сейчас надо спешить. Тута ждет в Гавани. Скорей на корабль, и в Египет!

– А ты? что будет с тобой? – спросила она.

Он молчал. Она приподнялась, положила руки на плечи его, приблизила лицо к лицу, заглянула в глаза, – и вдруг все поняла.

Знала устав Горы: человеческую жертву нельзя иначе спасти, как отдав за нее другую, – тело за тело, душу за душу. Но сделать это не может ни мать, ни отец, ни брат, ни сестра, ни супруга, ни супруга, а только чужой человек,

Мережковский Д. Рождение Богов (Тутанкамон на Крите) filosoff.org любящий так, что готов умереть за любимого. Вольная жертва любви – выше всех человеческих жертв – приятное благоухание Господу.

– Таму, брат мой, я знаю все: ты за меня умираешь! – прошептала она, не сводя с него глаз.

– Да, за тебя и за Него – ответил он просто. – Помнишь, как я проклинал Его, а ты мне сказала: «Скоро узнаешь, что любишь Его»? Ну вот, и узнал.

– «Тому, кто сделал зло тебе, плати добром», – повторила она с тихим восторгом и ужасом.

– Нет, Дио, ты мне зла не сделала. Благословенны муки любви твоей! Не я тебе плачу добром за зло, а ты – мне. Помнишь, когда я тебе сказал, что убил Эойю, ты мне ответила: «Мы никогда не разлюбим друг друга». О, дай же мне, дай умереть за тебя и за Него!

Он плакал. Вдруг улыбнулся сквозь слезы:

– Я, купец, считать умею, знаю, где прибыль. Лучше мне умереть, чем жить: жизнь разлучила нас – смерть соединит.

– Не могу, не могу, не могу! – стонала она, ломая руки. – Если мне жить – тебя убить, я не могу жить, не хочу!

– Не хочешь? Звала Его: «Приди!», а когда пришел – не хочешь принять?.. Дио, сестра моя, возлюбленная, разве ты не слышишь, что Он здесь, между нами, сейчас? Не я тебе говорю, а Он: так надо, чтоб Он пришел!

Снова послышались крики толпы. Давеча, когда снимали жертву с креста, разъяренная Гла выбежала за святую ограду, закричала в толпу, что отнимают жертву у бога, и взбунтовала народ.

Начальник стражи подбежал к нубийцам-носильщикам:

– Скорее, скорее, люди! В гавань и на корабль! Здесь оставаться ей дольше нельзя ни минуты.

Подошла и мать Анаита к Таму:

– Сын мой, твой час пришел. Жертвы требует Бог. Готов ли ты?

– Готов, – ответил Таму.

Нубийцы подняли носилки. Дио протянула руки к Таму. Он обнял ее, и она поцеловала его так, что потом, уже на костре, вспомнил он этот поцелуй и подумал:

«Да, за него умереть стоит!»

Быстро удалялись носилки. Таму смотрел им вслед, а когда потерял их из виду, обернулся к Анаите и сказал:

– Пойдем!

Она возложила на него снятый с Дио белый венок из шафранных цветов и повела его на костер.

Он увидел у ног своих крест. Снимая одежды, нащупал на груди корналиновую дощечку-талисман с надписью. «Аб вад», поцеловал его, прошептал:

– Отец есть любовь!

И лег на крест.

VI

Дио очнулась на корабле. Лежала в расписанной и раззолоченной, из сикоморового дерева, палубной рубке Тутанкамона. В брезжущем свете зари увидела на стенах ее ту же роспись, что в носилках: солнечный шар бога Атона, с лучами-руками, державшими пепельные крестики жизни, Анк и

Мережковский Д. Рождение Богов (Тутанкамон на Крите) filosoff.org
благословлявшими царя Ахенатона. В мыслях, смутных, как бред, она соединяла эти крестики с тем крестом, на котором лежала давеча, а теперь на него лег Таму.

Из-за длинного мола Кносской гавани выплывали в море один за другим, как лебединая стая, шесть кораблей: три египетских, два критских – почетная стража посла – и один, нагруженный грузом железа, Таммузададов, – предсмертный дар его царю Египта за спасение Дио.

Паруса повисли от безветрия. Но разом подымались, разом опускались весла, влажно блестя на заре, как плавники морского чудовища, и корабли шли на них быстро, влача за собою две голубоватых складки по белизне моря, почти такой же, как небо, опалово-розовой. В розовом небе, солнечно-белая, теплилась звезда любви. Его-Ее звезда, Отрока-Девы, Адуна-Ма. Ида-гора еще синела внизу, ночная, дремучая, а сверху уже розовела, снежная.

На краю неба и моря вспыхнул рдяный уголь, закруглился кругом огненным, брызнули лучи восходящего солнца, и звезда любви в них умерла.

Утренний ветер наполнил паруса, и густо-лиловые волны звучно под килем корабля зашумели, запенились.

* * *

Энгур, сын Нурдагана, овечий пастух, чью плачевную песнь об умершем боге Таммузе слушала некогда Дио, плыл с нею на одном корабле. Зенра взяла его с собою в память Таму.

Он слышал от Зенры о смерти господина своего, но как будто не понял, остался бесчувственным: так выжил из ума.

Вдруг сторожевой корабельщик с подозрной вышки на мачте крикнул:

– жертва горит!

И указал на клубы дыма, восходившие к небу с вершины холма над Кносской гаванью, где находился жертвенник. Все смотрели туда.

Посмотрел и Тута, сокрушенно вздохнул и подумал: «Бедный купец! Какой был умный человек, а погиб ни за что!» И благопристойно закрыл глаза рукою, как будто заплакал. Но скоро утешился, вспомнив, что эту смертью спасена плясунья Дио, жемчужина Царства Морей – чудесный дар царю Египта.

Долго смотрел Энгур, не понимая. Вдруг понял и завыл страшным воем, как пес на покойника.

Дио услышала вой, вскочила, выглянула в окно рубки, увидела дым, и как будто нож Глы пронзил ей сердце. Но вспомнила: «Так надо, чтоб Он пришел», – и притупился нож. Узнала так, как еще никогда, что Он придет.

* * *

Опытные критские мореходы предсказывали опасное плавание в наступающие дни равноденственных бурь. Но Тута уже не знал, что опаснее, земля или море: так был напуган подземными громами, а также пожаром Кносского ристалища. Пожар потушили скоро, но, вообразив спросонок, что весь дворец охвачен пламенем, он едва не выскочил из окна. А в последние дни прошел слух, что с севера идут на Царство Морей несметные полчища Ахейн, Данаев, Дарданцев, Илионян, Пелазгов и других полудиких племен; ведет их будто бы Сарпедомин, изгнанник, на царя Идомина, брат на брата. Вспомнилось Туте пророчество: «Придут из ночи Железные – и наступит железная ночь – конец всему!» Бедный Тута не знал, как унести ноги с проклятого Острова.

Царь Утукс-Одиссей плыл с Крита в Египет пять дней:

Плыли мы, с быстро-попутным, пронзительно-хладным Бореем,
По морю, точно по стремю, легко; и веселых и бодрых,
Мчали нас корабли, повинуюсь кормилу и ветру.
Дней через пять к светлоструйному устью потока Египта
Прибыли мы.
Не таково было плавание Туты.

Только что обогнули крайний, северо-восточный мыс Острова, Бритомартис-Саммонион, как сшиблись два противных ветра, и началась буря.

Тутин корабль из крепчайшего дуба и кедра, двухмачтовый, круглобокий, легко-поворотный, с длинной спереди шпорою, рассекавшею волны, с пятьюдесятью отборными кефтийскими гребцами, выдерживал бурю лучше всех. Но Тута пал духом, так что уже не чаял спасения, и давал обеты Атону-Амону, если только останется жив, никогда не пускаться в Очень-Зеленое.

Шесть дней не утихала буря, не видно было ни солнца, ни звезд, и пловцы не знали, куда несутся. Наконец, на седьмой – утихла, и показался берег Ханаана-Филистимии.

Зашли в гавань Гезер, но здесь пробыли недолго, потому что поблизости рыскали разбойничьи шайки Хабири. В те дни Иашуйя – Иисус Навин – уже перешел за Иордан и взял Урушалим, Град Божий.

Отплыв из Гезера, зашли в Аскалон, более надежную гавань, охраняемую египетским отрядом. Сюда же пришел и второй Тутин корабль, третий пропал без вести; два кефтийских, как узнал он впоследствии, прибиты были бурей к берегу Алашии-Кипра; а Таммузададов, с грузом железа, – разбился о подводные камни у Газельего Носа – Кармила.

В Аскалоне пробыли больше месяца, чинили корабли и ожидали попутного ветра.

Наступили, наконец, тихие предзимние дни Гальционовы, когда бог морей, Велхан, углаживает волны трезубцем, чтобы чайки могли высидеть птенцов своих в пловучих гнездах.

Отплыв из Аскалонской гавани, дня через три увидели фарос. Как пелось в песне Одиссеевой:

На море широкошумном находится остров, лежащий
Против Египта; его именуют там жители фарос.
Он от берегов на таком расстоянии, какое удобно
В день, с благовеющим ветром попутным, корабль пробегает.
Не заходя в пристань, прошли мимо, прямо на юг.

Был серенький денек. Накрапывал дождик. Тихие, теплые капли капали, как слезы. Море было гладко, как зеркало, и мутно-зелено, уже разбавлено пресными водами Нила.

Сидя на корме, на свертке канатов, Дио слушала пастушью свирель Энгура. На другом конце корабля играл он и пел плачевную песнь о боге Таммузе:

О Таммузе далеко плач подымается!
Матка-коза и козленок заколоты,
Матка-овца и ягненок заколоты.
О Сыне возлюбленном плач подымается!
Дио слушала, и тихие слезы текли по лицу ее, она сама не знала отчего, от грусти или от радости. Вспоминала всю свою жизнь, как сон, или как, может быть, вспоминают жизнь свою умершие. Иол, Эфра, Эойя, Таму – сколько жертв! Зачем? Теперь уже знала, зачем: чтобы Он пришел. Мать Земля в муках родов – муках человеческих – рождает Бога.

Вдруг на самом краю неба, над Очень-Зеленым, зажелтела как будто освещенная солнцем желтая полоска земли.

Дио спросила кормчего:

– Что это? Он ответил:

– Египет!

Примечания

1

древнешумерийский и вавилонский город на Евфрате

Мережковский Д. Рождение Богов (Тутанкамон на Крите) filosoff.org

2

Пасифая, жена Миноса, царя Крита, полюбила быка и родила от него Минотавра – чудовище с бычьей головой (греч. миф.)

3

Древнее название территорий Палестины, Сирии и Финикии.

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке

<http://filosoff.org/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.

<http://dostoevskiyfyodor.ru/> Приятного чтения!